

Л.Д. Троцкий

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



• ОКАЯННЫЕ ДНИ •

Швейцария.

Уотсон Голдман

Окаянные дни (Вече)

Лев Троцкий

**История русской революции.
Февральская революция**

«ВЕЧЕ»

1931

Троцкий Л. Д.

История русской революции. Февральская революция /
Л. Д. Троцкий — «ВЕЧЕ», 1931 — (Окаянные дни (Вече))

ISBN 978-5-4444-8884-3

Воспоминания Льва Троцкого – это рассказ о событиях Февральской революции в России от первого лица. Автор подробно описывает революционные дни и своих товарищей по борьбе, давая каждому из них емкие характеристики. Перед читателями раскрываются обстоятельства фракционной борьбы внутри партии большевиков и противостояния с буржуазно-демократическими партиями.

ISBN 978-5-4444-8884-3

© Троцкий Л. Д., 1931
© ВЕЧЕ, 1931

Содержание

Предисловие к русскому изданию	6
Предисловие	8
Особенности развития России	12
Царская Россия в войне	19
Пролетариат и крестьянство	28
Царь и царица	38
Идея дворцового переворота	45
Агония монархии	53
Пять дней	65
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Л. Д. Троцкий
История русской революции.
Февральская революция

© ООО «Издательство «Вече», 2017

* * *

Предисловие к русскому изданию

Февральская революция считается *демократической* революцией в собственном смысле слова. Политически она развертывалась под руководством двух демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. Возвращение к «заветам» Февральской революции является и сейчас официальной догмой так называемой демократии. Все это как будто дает основание думать, что демократические идеологи должны были поспешить подвести исторические и теоретические итоги февральскому опыту, вскрыть причины его крушения, определить, в чем собственно состоят его «заветы» и каков путь к их осуществлению. Обе демократические партии пользуются к тому же значительным досугом уже свыше тринадцати лет, причем каждая из них располагает штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем не менее мы не имеем ни одной заслуживающей внимания работы демократов о демократической революции. Лидеры соглашательских партий явно не решаются восстановить ход развития Февральской революции, в которой им довелось играть такую видную роль. Не удивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди вульгарной демократии тем опасливее относятся к действительной Февральской революции, чем смелее они клянутся ее бесплотными заветами. То обстоятельство, что сами они занимали в течение нескольких месяцев 1917 года руководящие посты, как раз больше всего и заставляет их отвращать взоры от тогдашних событий. Ибо плачевная роль меньшевиков и социалистов-революционеров (какой иронией звучит ныне это имя!) отражала не просто личную слабость вождей, а историческое вырождение вульгарной демократии и обреченность Февральской революции как *демократической*.

Вся суть в том, – и это есть главный вывод настоящей книги, – что Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрьской революции. История Февральской революции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалось от своих соглашательских покровов. Если бы вульгарные демократы посмели объективно изложить ход событий, они так же мало могли бы призывать кого-либо вернуться к Февралю, как нельзя призывать колос вернуться в породившее его зерно. Вот почему вдохновители ублюдочного февральского режима вынуждены ныне закрывать глаза на свою собственную историческую кульминацию, которая явилась кульминацией их несостоятельности.

Можно, правда, сослаться на то, что либерализм, в лице профессора истории Милюкова, попытался все же свести счеты со «второй русской революцией». Но Милюков вовсе не скрывает того, что он лишь претерпевал Февральскую революцию. Вряд ли есть какая-либо возможность причислять национал-либерального монархиста к демократии, хотя бы и вульгарной, – не на том же основании, в самом деле, что он примирился с республикой, когда не осталось ничего другого? Но даже оставляя политические соображения в стороне, работу Милюкова о Февральской революции ни в каком смысле нельзя считать научным трудом. Вождь либерализма выступает в своей «Истории» как потерпевший, как истец, но не как историк. Его три книги читаются, как растянутая передовица «Речи» в дни крушения корниловщины. Милюков обвиняет все классы и все партии в том, что они не помогли его классу и его партии сосредоточить в своих руках власть. Милюков обрушивается на демократов за то, что они не хотели или не умели быть последовательными национал-либералами. В то же время он сам вынужден свидетельствовать, что чем больше демократы приближались к национал-либерализму, тем больше они теряли опору в массах. Ему не остается, в конце концов, ничего иного, как обвинить русский народ в том, что он совершил преступление, именуемое революцией. Зачинщиков русской смуты Милюков, во время писания своей трехтомной передовицы, все еще пытался искать в канцелярии Людендорфа. Кадетский патриотизм, как известно, состоит в том, чтобы величайшие события в истории русского народа объ-

яснять режиссерством немецкой агентуры, но *зато* стремится в пользу «русского народа» отнять у турок Константинополь. Исторический труд Милюкова достойно завершает политическую орбиту русского национал-либерализма.

Понять революцию, как и историю в целом, можно только как объективно обусловленный процесс. Развитие народов выдвигает такие задачи, которых нельзя разрешить другими методами, кроме революции. В известные эпохи эти методы навязываются с такой силой, что вся нация вовлекается в трагический водоворот. Нет ничего более жалкого, как морализирование по поводу великих социальных катастроф! Здесь особенно уместно правило Спинозы: не плакать, не смеяться, а понимать.

Проблемы хозяйства, государства, политики, права, но рядом с ними также и проблемы семьи, личности, художественного творчества ставятся революцией заново и пересматриваются снизу доверху. Нет ни одной области человеческого творчества, в которую подлинно национальные революции не входили бы великими вехами. Это одно уже, отметим мимоходом, дает наиболее убедительное выражение монизму исторического развития. Обнажая все ткани общества, революция бросает яркий свет на основные проблемы социологии, этой несчастнейшей из наук, которую академическая мысль кормит уксусом и пинками. Проблемы хозяйства и государства, класса и нации, партии и класса, личности и общества ставятся во время великих социальных переворотов с предельной силой напряжения. Если революция и не разрешает немедленно ни одного из породивших ее вопросов, создавая лишь новые предпосылки для их разрешения, зато она обнажает все проблемы общественной жизни до конца. А в социологии больше, чем где бы то ни было, искусство познания есть искусство обнажения.

Незачем говорить, что наш труд не претендует на полноту. Читатель имеет пред собою главным образом *политическую* историю революции. Вопросы экономики привлекаются лишь постольку, поскольку они необходимы для понимания политического процесса. Проблемы культуры совсем оставлены за рамками исследования. Нельзя, однако, забывать, что процесс революции, т. е. непосредственной борьбы классов за власть, есть, по самому своему существу, процесс политический.

Второй том «Истории», посвященный Октябрьскому перевороту, автор надеется выпустить в свет осенью этого года.

Принкипо, 25 февраля 1931 г.
Л. Троцкий

Предисловие

В первые два месяца 1917 года Россия была еще романовской монархией. Через восемь месяцев у кормила стояли уже большевики, о которых мало кто знал в начале года и вожди которых, в самый момент прихода к власти, еще состояли под обвинением в государственной измене. В истории не найти второго такого крутого поворота, особенно если не забывать, что речь идет о нации в полтора миллиона душ. Ясно, что события 1917 года, как бы к ним ни относиться, заслуживают изучения.

История революции, как и всякая история, должна прежде всего рассказать, что и как произошло. Однако этого мало. Из самого рассказа должно стать ясно, почему произошло так, а не иначе. События не могут ни рассматриваться как цепь приключений, ни быть нанизаны на нитку предвзятой морали. Они должны повиноваться своей собственной закономерности. В раскрытии ее автор и видит свою задачу.

Наиболее бесспорной чертой революции является прямое вмешательство масс в исторические события. В обычное время государство, монархическое, как и демократическое, возвышается над нацией; историю вершат специалисты этого дела: монархи, министры, бюрократы, парламентарии, журналисты. Но в те поворотные моменты, когда старый порядок становится дальше невыносимым для масс, они ломают перегородки, отделяющие их от политической арены, опрокидывают своих традиционных представителей и создают своим вмешательством исходную позицию для нового режима. Худо это или хорошо, предоставим судить моралистам. Сами мы берем факты, как они даются объективным ходом развития. История революции есть для нас прежде всего история насильственного вторжения масс в область управления их собственными судьбами.

В охваченном революцией обществе борются классы. Совершенно очевидно, однако, что изменения, происходящие между началом революции и концом ее, в экономических основах общества и в социальном субстрате классов, совершенно недостаточны для объяснения хода самой революции, которая, на коротком промежутке времени, низвергает вековые учреждения, создает новые и снова низвергает. Динамика революционных событий *непосредственно* определяется быстрыми, напряженными и страстными изменениями психологии классов, сложившихся до революции.

Дело в том, что общество не меняет своих учреждений по мере надобности, как мастер обновляет свои инструменты. Наоборот, практически оно берет нависающие над ним учреждения как нечто раз навсегда данное. В течение десятилетий оппозиционная критика является лишь предохранительным клапаном для массового недовольства и условием устойчивости общественного строя: такое принципиальное значение приобрела, например, критика социал-демократии. Нужны совершенно исключительные, не зависящие от воли лиц или партий условия, которые срывают с недовольства оковы консерватизма и приводят массы к восстанию.

Быстрые изменения массовых взглядов и настроений в эпоху революции вытекают, следовательно, не из гибкости и подвижности человеческой психики, а, наоборот, из ее глубокого консерватизма. Хроническое отставание идей и отношений от новых объективных условий, вплоть до того момента, как последние обрушиваются на людей в виде катастрофы, и порождает в период революции скачкообразное движение идей и страстей, которое полицейским головам кажется простым результатом деятельности «демагогов».

В революцию массы входят не с готовым планом общественного переустройства, а с острым чувством невозможности терпеть старое. Лишь руководящий слой класса имеет политическую программу, которая, однако, нуждается еще в проверке событий и в одобрении масс. Основной политический процесс революции и состоит в постижении классом

задач, вытекающих из социального кризиса, в активной ориентировке масс по методу последовательных приближений. Отдельные этапы революционного процесса, закреплённые сменой одних партий другими, все более крайними, выражают возрастающий напор масс влево, пока размах движения не упирается в объективные препятствия. Тогда начинается реакция: разочарование отдельных слоев революционного класса, рост индифферентизма и тем самым упрочение позиций контрреволюционных сил. Такова, по крайней мере, схема старых революций.

Только на основе изучения политических процессов в самих массах можно понять роль партий и вождей, которых мы меньше всего склонны игнорировать. Они составляют хоть и не самостоятельный, но очень важный элемент процесса. Без руководящей организации энергия масс рассеялась бы, как пар, не заключённый в цилиндр с поршнем. Но движет все же не цилиндр и не поршень, движет пар.

Трудности, какие стоят на пути изучения изменений массового сознания в эпоху революции, совершенно очевидны. Угнетённые классы делают историю на заводах, в казармах, в деревнях, на улицах городов. При этом они меньше всего привыкли ее записывать. Периоды высшего напряжения социальных страстей вообще оставляют мало места созерцанию и отображению. Всем музам, даже плебейской музе журнализма, несмотря на ее крепкие бока, приходится туго во время революции. И все же положение историка отнюдь не безнадежно. Записи неполны, разрозненны, случайны. Но в свете самих событий эти осколки позволяют нередко угадать направление и ритм подспудного процесса. Худо или хорошо, но на учете изменений массового сознания революционная партия основывает свою тактику. Исторический путь большевизма свидетельствует, что такой учет, по крайней мере в грубых своих чертах, осуществим. Почему же то, что доступно революционному политику в водовороте борьбы, не может быть доступно историку задним числом?

Однако же процессы, происходящие в сознании масс, не являются ни самодовлеющими, ни независимыми. Как бы идеалисты и эклектики ни сердились, сознание все-таки определяется бытием. В исторических условиях формирования России, ее хозяйства, ее классов, ее государства, в воздействии на нее других государств должны были быть заложены предпосылки Февральской революции и ее смены – Октябрьской. Поскольку наиболее загадочным кажется все же тот факт, что отсталая страна *первою* поставила у власти пролетариат, приходится заранее разгадку этого факта искать в *своеобразии* этой отсталой страны, т. е. в ее отличиях от других стран.

Исторические особенности России и их удельный вес охарактеризованы нами в первых главах книги, заключающих краткий очерк развития русского общества и его внутренних сил. Мы хотели бы надеяться, что неизбежная схематичность этих глав не отпугнет читателя. На дальнейшем протяжении книги он встретит те же социальные силы в живом действии.

Этот труд ни в какой мере не опирается на личные воспоминания. То обстоятельство, что автор был участником событий, не освобождало его от обязанности строить свое изложение на строго проверенных документах. Автор книги говорит о себе, поскольку он вынуждается к тому ходом событий, в третьем лице. И это не простая литературная форма: субъективный тон, неизбежный в автобиографии или мемуарах, был бы недопустим в историческом труде.

Однако то обстоятельство, что автор был участником борьбы, естественно облегчает ему понимание не только психологии действующих лиц, индивидуальных и коллективных, но и внутренней связи событий. Это преимущество может дать положительные результаты при соблюдении одного условия: не полагаться на показания своей памяти не только в мелочах, но и в крупном, не только в отношении фактов, но и в отношении мотивов или настроений. Автор считает, что, насколько от него зависело, он это условие соблюдал.

Остается вопрос о политической позиции автора, который, в качестве историка, стоит на той же точке зрения, на которой стоял в качестве участника событий. Читатель, конечно, не обязан разделять политические взгляды автора, которые этот последний не имеет никаких оснований скрывать. Но читатель вправе требовать, чтобы исторический труд представлял собою не апологию политической позиции, а внутренне обоснованное изображение реального процесса революции. Исторический труд только тогда полностью отвечает своему назначению, когда события разворачиваются на его страницах во всей своей естественной принудительности.

Необходимо ли для этого так называемое историческое «беспристрастие»? Никто еще ясно не объяснил, в чем оно должно состоять. Часто цитировавшиеся слова Клемансо о том, что революцию надо принимать *en bloc*, целиком, – представляют собою в лучшем случае остроумную увертку: как можно объявлять себя сторонником целого, сущность которого состоит в расколе? Афоризм Клемансо продиктован отчасти сконфуженностью за слишком решительных предков, отчасти – неловкостью потомка перед их тенями.

Один из реакционных и потому модных историков современной Франции, Л. Мадлен, столь салонно оклеветавший Великую революцию, т. е. рождение французской нации, утверждает, что «историк должен стать на стену угрожаемого города и одновременно видеть как осаждающих, так и осаждаемых»: только так можно будто бы добиться «примиряющей справедливости». Однако работы самого Мадлена свидетельствуют, что если он и взбирается на стену, отделяющую два лагеря, то только в качестве лазутчика реакции. Хорошо, что дело идет в данном случае о лагерях прошлого: во время революции пребывание на стене сопряжено с большими опасностями. Впрочем, в тревожные минуты жрецы «примиряющей справедливости» сидят обычно в четырех стенах, выжидая, на чьей стороне окажется победа.

Серьезному и критическому читателю нужно не вероломное беспристрастие, которое преподносит ему кубок примирения с хорошо отстоявшимся ядом реакционной ненависти на дне, а научная добросовестность, которая для своих симпатий и антипатий, открытых, незамаскированных, ищет опоры в честном изучении фактов, в установлении их действительной связи, в обнаружении закономерности их движения. Это есть единственно возможный исторический объективизм, и притом вполне достаточный, ибо он проверяется и удостоверяется не добрыми намерениями историка, за которые к тому же тот сам и ручается, а обнаруженной им закономерностью самого исторического процесса.

* * *

Источниками этой книги являются многочисленные периодические издания, газеты и журналы, мемуары, протоколы и иные материалы, отчасти рукописные, а главным образом изданные Институтом по истории революции в Москве и Ленинграде. Мы считали излишним делать в тексте ссылки на отдельные издания, так как это только затруднило бы читателя. Из книг, которые имеют характер сводных исторических трудов, мы использовали, в частности, двухтомные «Очерки по истории Октябрьской революции» (Москва – Ленинград, 1927). Написанные разными авторами, составные части этих «Очерков» имеют неодинаковую ценность, но заключают в себе, во всяком случае, обильный фактический материал.

Хронологические даты нашей книги везде указаны по старому стилю, т. е. отстают от мирового, в том числе и нынешнего советского, календаря на 13 дней. Автор вынужден был пользоваться тем календарем, который был в силе во время революции. Не представляло бы, правда, никакого труда перевести даты на новый стиль. Но такая операция, устраняя одни трудности, породила бы другие, более существенные. Низвержение монархии вошло в историю под именем Февральской революции. По западному календарю оно

произошло, однако, в марте. Вооруженная демонстрация против империалистической политики Временного правительства вошла в историю под именем «апрельских дней», между тем, по западному календарю, она происходила в мае. Не останавливаясь на других промежуточных событиях и датах, отметим еще, что Октябрьский переворот произошел, по европейскому исчислению, в ноябре. Сам календарь, как видим, окрашен событиями, и историк не может расправиться с революционным летосчислением при помощи простых арифметических действий. Читатель благоволит лишь помнить, что, прежде чем опрокинуть византийский календарь, революция должна была опрокинуть державшиеся за него учреждения.

Принкипо, 14 ноября 1930 г.

Л. Троцкий

Особенности развития России

Основной, наиболее устойчивой чертой истории России является замедленный характер ее развития, с вытекающей отсюда экономической отсталостью, примитивностью общественных форм, низким уровнем культуры.

Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским выходам, было самой природой обречено на долгое отставание. Борьба с кочевниками длилась почти до конца XVII века. Борьба с ветрами, приносящими зимнюю стужу, а летом засуху, не закончилась и сейчас. Сельское хозяйство – основа всего развития – продвигалось экстенсивными путями: на Севере вырубались и выжигались леса, на Юге взрывались девственные степи; овладение природой шло вширь, а не вглубь.

В то время как западные варвары поселились на развалинах римской культуры, где многие старые камни стали для них строительным материалом, славяне Востока не нашли никакого наследства на безотрадной равнине: их предшественники стояли на еще более низкой ступени, чем они сами. Западноевропейские народы, скоро упершиеся в свои естественные границы, создавали экономические и культурные сгустки промышленных городов. Население восточной равнины, при первых признаках тесноты, углублялось в леса или уходило на окраины, в степь. Наиболее инициативные и предприимчивые элементы крестьянства становились на Западе горожанами, ремесленниками, купцами. Активные и смелые элементы на Востоке становились отчасти торговцами, а больше – казаками, пограничниками, колонизаторами. Процесс социальной дифференциации, интенсивный на Западе, на Востоке задерживался и размывался процессом экспансии. «Царь Московии, хотя и христианский, правит людьми ленивого ума», – писал Вико, современник Петра I. «Ленивый ум» москвитян отражал медленный темп хозяйственного развития, бесформенность классовых отношений, скудость внутренней истории.

Древние цивилизации Египта, Индии и Китая имели достаточно самодовлеющий характер и располагали достаточным временем, чтобы, несмотря на свои низкие производительные силы, довести свои социальные отношения почти до такой же детальной законченности, до которой ремесленники этих стран доводили свои изделия. Россия стояла не только географически между Европой и Азией, но также социально и исторически. Она отличалась от европейского Запада, но разнилась и от азиатского Востока, приближаясь в разные периоды разными чертами то к одному, то к другому. Восток дал татарское иго, которое вошло важным элементом в строение русского государства. Запад был еще более грозным врагом, но в то же время и учителем. Россия не имела возможности сложиться в формах Востока, потому что ей всегда приходилось приспособляться к военному и экономическому давлению Запада.

Существование феодальных отношений в России, отрицавшееся прежними историками, можно считать позднейшими исследованиями безусловно доказанным. Более того: основные элементы русского феодализма были те же, что и на Западе. Но уже один тот факт, что феодальную эпоху пришлось устанавливать путем долгих научных споров, достаточно свидетельствует о недоношенности русского феодализма, о его бесформенности, о бедности его культурных памятников.

Отсталая страна ассимилирует материальные и идейные завоевания передовых стран. Но это не значит, что она рабски следует за ними, воспроизводя все этапы их прошлого. Теория повторяемости исторических циклов – Вико и его позднейшие последователи – опирается на наблюдения над орбитами старых, докапиталистических культур, отчасти – первых опытов капиталистического развития. С провинциальностью и эпизодичностью всего процесса действительно связана была известная повторяемость культурных стадий в новых

и новых очагах. Капитализм означает, однако, преодоление этих условий. Он подготовил и, в некотором смысле, осуществил универсальность и перманентность развития человечества. Этим самым исключена возможность повторяемости форм развития отдельных наций. Вынужденная тянуться за передовыми странами отсталая страна не соблюдает очередей: привилегия исторической запоздалости – а такая привилегия существует – позволяет или, вернее, вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через ряд промежуточных этапов. Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая пути, который пролегал между этими орудиями в прошлом. Европейские колонисты в Америке не начинали историю сначала. То обстоятельство, что Германия или Соединенные Штаты экономически опередили Англию, обусловлено как раз запоздалостью их капиталистического развития. Наоборот, консервативная анархия в британской угольной промышленности, как и в головах Макдональда и его друзей, есть расплата за прошлое, когда Англия слишком долго играла роль капиталистического гегемона. Развитие исторически запоздалой нации ведет, по необходимости, к своеобразному сочетанию разных стадий исторического процесса. Орбита в целом получает непланомерный, сложный комбинированный характер.

Возможность перепрыгивания через промежуточные ступени, разумеется, совсем не абсолютна; размеры ее определяются, в конце концов, хозяйственной и культурной емкостью страны. Отсталая нация к тому же нередко снижает заимствуемые ею извне готовые достижения путем приспособления их к своей более примитивной культуре. Самый процесс ассимиляции получает при этом противоречивый характер. Так, введение элементов западной техники и выучки, прежде всего военной и мануфактурной, при Петре I привело к усугублению крепостного права как основной формы организации труда. Европейское вооружение и европейские займы, – и то и другое – бесспорные продукты более высокой культуры, – привели к укреплению царизма, тормозившего, в свою очередь, развитие страны.

Историческая закономерность не имеет ничего общего с педантским схематизмом. Неравномерность, наиболее общий закон исторического процесса, резче и сложнее всего обнаруживается на судьбе запоздалых стран. Под кнутом внешней необходимости отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон, который, за неимением более подходящего имени, можно назвать законом *комбинированного развития*, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее современными. Без этого закона, взятого, разумеется, во всем его материальном содержании, нельзя понять истории России, как и всех вообще стран второго, третьего и десятого культурного призыва.

Под давлением более богатой Европы государство поглощало в России гораздо большую относительную долю народного достояния, чем на Западе, и не только обрекало этим народные массы на двойную нищету, но и ослабляло основы имущих классов. Нуждаясь в то же время в поддержке последних, оно форсировало и регламентировало их формирование. В результате бюрократизированные привилегированные классы никогда не могли подняться во весь рост, и государство в России тем больше приближалось к азиатской деспотии.

Византийское самодержавие, официально усвоенное московскими царями с начала XVI века, смирило феодальное боярство при помощи дворянства и подчинило себе дворянство, закабалив ему крестьянство, чтобы превратиться на этой основе в петербургский императорский абсолютизм. Запоздалость всего процесса достаточно характеризуется тем, что крепостное право, зародившись с конца XVI века, сложилось в XVII, достигло расцвета в XVIII и было юридически отменено лишь в 1861 году.

Духовенство, вслед за дворянством, сыграло в образовании царского самодержавия немалую роль, но вполне служебную. Церковь никогда не поднималась в России до той командующей высоты, что на католическом Западе: она удовлетворялась местом духовной прислуги при самодержавии и вменяла это в заслугу своему смирению. Епископы и мит-

рополиты располагали властью лишь как ставленники светской власти. Патриархи сменялись вместе с царями. В петербургский период зависимость церкви от государства стала еще более рабской. 200 тысяч священников и монахов составляли, в сущности, часть бюрократии, своего рода полицию вероисповедания. В возмещение за это монополия православного духовенства в делах веры, его земли и доходы ограждались полицией общего порядка.

Славянофильство, мессианизм отсталости, строило свою философию на том, что русский народ и его церковь насквозь демократичны, а официальная Россия – это немецкая бюрократия, насажденная Петром. Маркс заметил по этому поводу: «Ведь точно так же и тевтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II и т. д. на французов, как будто отсталые рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти нужную выучку». Это краткое замечание исчерпывает до дна не только старую философию славянофилов, но и новейшие откровения «расистов».

Скудость не только русского феодализма, но и всей старой русской истории наиболее удручающее свое выражение находила в отсутствии настоящих средневековых городов как ремесленно-торговых центров. Ремесло не успело в России отделиться от земледелия и сохраняло характер кустарничества. Старые русские города были торговыми, административными, военными и помещичьими, следовательно, потребляющими, а не производящими центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе и не знавший татарского ига, был только торговым, а не промышленным городом. Правда, разбросанность крестьянских промыслов по разным районам создавала потребность в торговом посредничестве широкого масштаба. Но кочующие торговцы ни в какой мере не могли занять в общественной жизни то место, которое на Западе принадлежало ремесленно-цеховой и торгово-промышленной мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со своей крестьянской периферией. Главные пути русской торговли к тому же вели за границу, обеспечивая уже с отдаленных веков руководство за иностранным торговым капиталом и придавая полуколониальный характер всему обороту, в котором русский торговец был посредником между западными городами и русской деревней. Этот род экономических отношений получил дальнейшее развитие в эпоху русского капитализма и нашел свое крайнее выражение в империалистской войне.

Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа государства, исключало, в частности, возможность реформации, т. е. замены феодально-бюрократического православия какой-либо модернизованной разновидностью христианства, приспособленной к потребностям буржуазного общества. Борьба против государственной церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую могущественную из них, староверческий раскол.

За полтора десятилетия до Великой французской революции в России разразилось движение казаков, крестьян и крепостных уральских рабочих, известное под именем пугачевщины. Чего не хватало этому грозному народному восстанию, чтобы превратиться в революцию? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов крестьянская война не могла развиваться в революцию, как крестьянские секты не могли подняться до реформации. Результатом пугачевщины явилось, наоборот, упрочение бюрократического абсолютизма как стража дворянских интересов, снова оправдавшего себя в трудный час.

Европеизация страны, формально начавшаяся при Петре, все более становилась в течение следовавшего столетия потребностью самого господствующего класса, т. е. дворянства. В 1825 году дворянская интеллигенция, политически обобщив эту потребность, пришла к военному заговору с целью ограничения самодержавия. Под давлением европейского буржуазного развития передовое дворянство попыталось, следовательно, заменить недостающее третье сословие. Но либеральный режим оно хотело все же сочетать с основами своего сословного господства и потому больше всего боялось поднимать крестьян. Неудивительно,

если заговор остался предприятием блестящего, но изолированного офицерства, которое расшибло себе голову почти без боя. Таков смысл восстания декабристов.

Помещики, владевшие фабриками, первыми в среде своего сословия стали склоняться в пользу замены крепостного труда вольнонаемным. В эту же сторону толкал и возраставший экспорт русского зерна за границу. В 1861 году дворянская бюрократия, опираясь на либеральных помещиков, проводит свою крестьянскую реформу. Бессильный буржуазный либерализм состоял при этой операции в качестве покорного хора. Незачем говорить, что царизм еще более скаредно и воровато разрешил основную проблему России, т. е. аграрный вопрос, чем прусская монархия, в течение ближайшего десятилетия, разрешила основную проблему Германии, т. е. ее национальное объединение. Разрешение задач одного класса руками другого и есть один из комбинированных методов, свойственных отсталым странам.

Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается, однако, на истории и характере русской промышленности. Возникнув поздно, она не повторяла развития передовых стран, а включалась в это последнее, приспосабливая к своей отсталости его новейшие достижения. Если хозяйственная эволюция России в целом перешагнула через эпохи цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные отрасли промышленности совершали ряд частных скачков через технико-производственные этапы, которые на Западе измерялись десятилетиями. Благодаря этому русская промышленность развивалась в некоторые периоды чрезвычайно быстрым темпом. Между первой революцией и войной промышленная продукция России выросла примерно вдвое. Это показалось некоторым русским историкам достаточным основанием для того вывода, что «легенду об отсталости и медленном росте приходится оставить». (Утверждение принадлежит профессору М. Н. Покровскому. См. приложение № 1.) На самом деле возможность столь быстрого роста определилась именно отсталостью, которая, увы, сохранилась не только до момента ликвидации старой России, но, как наследие ее, и до сегодняшнего дня.

Основным измерителем экономического уровня нации является производительность труда, которая, в свою очередь, зависит от удельного веса промышленности в общем хозяйстве страны. Накануне войны, когда царская Россия достигла высшей точки своего благосостояния, народный доход на душу был в 8–10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, что неудивительно, если принять во внимание, что 1/5 самостоятельного населения России занято было в сельском хозяйстве, тогда как в Соединенных Штатах на 1 занятого в земледелии приходилось 2,5 занятых в промышленности. Прибавим еще, что на 100 квадратных километров в России приходилось накануне войны 0,4 километра железных дорог, в Германии – 11,7, в Австро-Венгрии – 7,0. Остальные сравнительные коэффициенты того же типа.

Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития выступает с наибольшей силой. В то время как крестьянское земледелие, в главной массе своей, оставалось до самой революции чуть ли не на уровне XVII столетия, промышленность России, по своей технике и капиталистической структуре, стояла на уровне передовых стран, а в некоторых отношениях даже опережала их. Мелкие предприятия, с числом рабочих до 100 человек, охватывали в 1914 году в Соединенных Штатах 35 % общего числа промышленных рабочих, а в России – только 17,8 %. При приблизительно одинаковом удельном весе средних и крупных предприятий, в 100–1000 рабочих, предприятия-гиганты, свыше 1000 рабочих каждое, занимали в С. Штатах 17,8 % общего числа рабочих, а в России – 41,4 %! Для важнейших промышленных районов последний процент еще выше: для петроградского – 44,4 %, для московского – даже 57,3 %. Подобные же результаты получаются, если сравним русскую промышленность с британской или германской. Этот факт, впервые установленный нами в 1908 году, трудно укладывается в банальное представление об экономической отсталости России. А между тем он не опровергает отсталости, а лишь диалектически дополняет ее.

Слияние промышленного капитала с банковским проведено было в России опять-таки с такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой стране. Но подчинение промышленности банкам означало тем самым подчинение ее западноевропейскому денежному рынку. Тяжелая промышленность (металл, уголь, нефть) была почти целиком подконтрольна иностранному финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую систему банков в России. Легкая промышленность шла по тому же пути. Если иностранцы владели в общем около 40 % всех акционерных капиталов России, то для ведущих отраслей промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился за границей, причем доля капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли Германии.

Условиями происхождения русской промышленности и ее структурой определялся социальный характер русской буржуазии и ее политический облик. Высокая концентрация промышленности уже сама по себе означала, что между капиталистическими верхами и народными массами не было иерархии переходных слоев. К этому присоединялось то, что собственниками важнейших промышленных, банковских и транспортных предприятий были иностранцы, которые реализовали не только извлеченную из России прибыль, но и свое политическое влияние в иностранных парламентах и не только не подвигали вперед борьбу за русский парламентаризм, но часто противодействовали ей: достаточно вспомнить постыдную роль официальной Франции. Таковы элементарные и неустранимые причины политической изолированности и антинародного характера русской буржуазии. Если на заре своей истории она была слишком незрелой, чтобы совершить реформацию, то она оказалась перезрелой, когда настало время для руководства революцией.

В соответствии с общим ходом развития страны резервуаром, из которого формировался русский рабочий класс, являлось не цеховое ремесло, а сельское хозяйство, не город, а деревня. Русский пролетариат складывался при этом не постепенно, веками, влеча за собой груз прошлого, как в Англии, а скачками, путем крутой перемены обстановки, связей, отношений и резкого разрыва со вчерашним днем. Именно это – в сочетании с концентрированным гнетом царизма – сделало русских рабочих восприимчивыми к наиболее смелым выводам революционной мысли, подобно тому как запоздалая русская промышленность оказалась восприимчивой к последнему слову капиталистической организации.

Короткую историю своего происхождения русский пролетариат всегда воспроизводил заново. В то время как в металлообрабатывающей промышленности, особенно в Петербурге, кристаллизовался слой потомственных пролетариев, окончательно порвавших с деревней, на Урале преобладал еще тип полупролетария-полукрестьянина. Ежегодный приток свежей рабочей силы из деревень во все промышленные районы обновлял связь пролетариата с его основным социальным резервуаром.

Политическая недееспособность буржуазии непосредственно определялась характером ее отношений к пролетариату и крестьянству. Она не могла вести за собой рабочих, которые враждебно противостояли ей в повседневной жизни и очень рано научились обобщать свои задачи. Но она оказалась в такой же мере не способной вести за собой крестьянство, потому что была связана сетью общих интересов с помещиками и боялась потрясения собственности в каком бы то ни было виде. Запоздалость русской революции оказалась, таким образом, не только вопросом хронологии, но и вопросом социальной структуры нации.

Англия совершала свою пуританскую революцию, когда все население ее не превышало 51/2 – миллиона, из которых полмиллиона приходилось на Лондон. Франция в эпоху своей революции имела в Париже тоже лишь полмиллиона из 25 миллионов всего населения. Россия начала XX века насчитывала около 150 миллионов населения, из которых свыше трех миллионов приходилось на Петроград и Москву. За этими сравнительными цифрами

скрываются величайшие социальные различия. Не только Англия XVII, но и Франция XVIII столетия не знали еще современного пролетариата. Между тем в России рабочий класс во всех областях труда, в городе и в деревне, насчитывал к 1905 году уже не менее 10 миллионов душ, что с семьями составляло свыше 25 миллионов, т. е. больше, чем население Франции в эпоху Великой революции. От крепких ремесленников и независимых крестьян армии Кромвеля – через санкюлотов Парижа – до индустриальных пролетариев Петербурга революция глубоко изменила свою социальную механику, свои методы, а тем самым и свои цели.

События 1905 года были прологом обеих революций 1917 года: Февральской и Октябрьской. В прологе были заложены все элементы драмы, но только не доведены до конца. Русско-японская война расшатала царизм. На фоне движения масс либеральная буржуазия напугала монархию своей оппозицией. Рабочие организовывались самостоятельно от буржуазии и в противовес ей, в виде советов, впервые призванных тогда к жизни. Крестьянство восставало за землю на огромном протяжении страны. Как крестьяне, так и революционные части армии тянулись к советам, которые в момент высшего подъема революции открыто оспаривали власть у монархии. Однако все революционные силы выступали тогда впервые, опыта у них не было и не хватало уверенности. Либералы демонстративно отшатнулись от революции именно в тот момент, когда обнаружилось, что недостаточно расшатать царизм, надо еще повалить его. Крутой разрыв буржуазии с народом, причем она и тогда уже увлекла за собой значительные круги демократической интеллигенции, облегчил монархии расслоение армии, выделение верных частей и кровавую расправу над рабочими и крестьянами. Хотя и недосчитываясь кое-каких ребер, царизм вышел все же из испытаний 1905 года живым и достаточно сильным.

Какие же изменения в соотношении сил внесло историческое развитие за 11 лет, отделивших пролог от драмы? Царизм пришел за этот период в еще большее противоречие с потребностями исторического развития. Буржуазия стала экономически более могущественной, но, как мы уже видели, это могущество опиралось на более высокую концентрацию промышленности и на возросшую роль иностранного капитала. Под действием уроков 1905 года буржуазия стала еще консервативнее и подозрительнее. Удельный вес мелкой и средней буржуазии, незначительный и ранее, еще более понизился. Какой-либо устойчивой социальной опоры у демократической интеллигенции вообще не было. Она могла иметь переходящее политическое влияние, но не могла играть самостоятельной роли: зависимость ее от буржуазного либерализма чрезвычайно возросла. Дать крестьянству программу, зная, руководство мог при этих условиях только молодой пролетариат. Вставшие перед ним, таким образом, грандиозные задачи породили неотложную потребность в особой революционной организации, которая могла бы сразу охватить народные массы и сделать их способными к революционному действию под руководством рабочих. Так, советы 1905 года получили гигантское развитие в 1917 году. Что советы, отметим тут же, представляют собою не просто порождение исторической запоздалости России, а являются продуктом комбинированного развития, свидетельствует хотя бы тот факт, что пролетариат наиболее индустриальной страны, Германии, не нашел во время революционного подъема 1918–1919 годов другой формы организации, как советы.

Революция 1917 года все еще имела своей непосредственной задачей низвержение бюрократической монархии. Но, в отличие от старых буржуазных революций, в качестве решающей силы выступал теперь новый класс, сложившийся на основе концентрированной индустрии, вооруженный новой организацией и новыми методами борьбы. Закон комбинированного развития раскрывается здесь пред нами в крайнем своем выражении: начав с низвержения средневекового гнилья, революция в течение нескольких месяцев ставит у власти пролетариат с коммунистической партией во главе.

По отпавшим своим задачам русская революция являлась, таким образом, демократической революцией. Но она по-новому поставила проблему политической демократии. В то время как рабочие покрыли всю страну советами, включив в них солдат и отчасти крестьян, буржуазия все еще продолжала торговаться, созывать или не созывать ей Учредительное собрание.

В ходе изложения событий вопрос этот предстанет пред нами во всей своей конкретности. Здесь мы хотим только наметить место советов в историческом чередовании революционных идей и форм.

В середине XVII века буржуазная революция в Англии развернулась в оболочке религиозной реформации. Борьба за право молиться по собственному молитвеннику отождествлялась с борьбой против короля, аристократии, князей церкви и Рима. Просвитерияне и пуритане были глубоко убеждены, что они свои земные интересы ставят под незыблемое покровительство божественного промысла. Задачи, за которые боролись новые классы, неразрывно срослись в их сознании с текстами Библии и с формами церковного обихода. Эмигранты уносили с собою эту кровью скрепленную традицию за океан. Отсюда исключительная живучесть англосаксонских интерпретаций христианства. Мы видим, как и сегодня еще министры-социалисты Великобритании обосновывают свою трусость теми самыми магическими текстами, в которых люди XVII века искали оправдания для своего мужества.

Во Франции, перешагнувшей через реформацию, католическая церковь, в качестве государственной, дожила до революции, которая нашла не в текстах Библии, а в абстракциях демократии выражение и оправдание для задач буржуазного общества. Какова бы ни была ненависть нынешних заправил Франции к якобинизму, но факт таков, что именно благодаря суровой работе Робеспьера они все еще сохраняют возможность прикрывать свое консервативное господство формулами, при помощи которых было некогда взорвано старое общество.

Каждая из великих революций отмечала новый этап буржуазного общества и новые формы сознания его классов. Как Франция перешагнула через реформацию, так Россия перешагнула через формальную демократию. Русская революционная партия, которой предстояло наложить свою печать на целую эпоху, искала выражения для задач революции не в Библии и не в секуляризованном христианстве чистой демократии, а в материальных отношениях общественных классов. Советская система дала этим отношениям наиболее простое, незамаскированное, прозрачное выражение. Господство трудящихся впервые нашло свое осуществление в системе советов, которая, каковы бы ни были ее ближайшие исторические перипетии, так же неискоренимо проникла в сознание масс, как в свое время система реформации или чистой демократии.

Царская Россия в войне

Участие России в войне было противоречиво по мотивам и целям. Кровавая борьба велась, по существу, за мировое господство. В этом смысле она России была не по плечу. Так называемые военные цели самой России (турецкие проливы, Галиция, Армения) имели провинциальный характер и могли быть разрешены лишь попутно, в зависимости от степени их соответствия интересам решающих участников войны.

В то же время Россия, в качестве великой державы, не могла не участвовать в свалке передовых капиталистических стран, как она не могла, в предшествующую эпоху, не вводить у себя заводы, фабрики, железные дороги, скорострельные ружья и самолеты. Нередкие среди русских историков новейшей школы споры о том, в какой мере царская Россия созрела для современной империалистической политики, впадают сплошь и рядом в схоластику, ибо рассматривают Россию на международной арене изолированно, как самостоятельный фактор. Между тем она являлась лишь звеном системы.

Индия, и по существу и по форме, участвовала в войне, как колония Англии. Вмешательство Китая, в формальном смысле «добровольное», являлось на деле вмешательством раба в драку господ. Участие России проходило где-то посередине между участием Франции и участием Китая. Россия оплачивала таким путем право состоять в союзе с передовыми странами, ввозить капиталы и платить по ним проценты, т. е., по существу, свое право быть привилегированной колонией своих союзников; но в то же время и свое право давить и грабить Турцию, Персию, Галицию, вообще более слабых и отсталых, чем она сама. Двойственный империализм русской буржуазии имел в основе своей характер агентуры других, более могущественных, мировых сил.

Китайское компрадорство является классическим типом национальной буржуазии, конституированной по типу агентурного посредничества между иностранным финансовым капиталом и хозяйством собственной страны. В мировой иерархии государств Россия занимала до войны значительно более высокое место, чем Китай. Какое место заняла бы она после войны, не будь революции, вопрос другой. Но русское самодержавие, с одной стороны, русская буржуазия – с другой, несли в себе все более ярко выраженные черты компрадорства: они жили и питались связью с иностранным империализмом, служили ему и, не опираясь на него, держаться не могли. Правда, они в конце концов не устояли и при его поддержке. Полукомпрадорская русская буржуазия имела мировые империалистические интересы в том же смысле, в каком работающий с процента агент живет интересами своего хозяина.

Орудием войны является армия. Так как каждая армия в национальной мифологии считается непобедимой, то господствующие классы России не видели основания делать исключение и для царской армии. На деле же она представляла серьезную силу лишь против полуварварских народностей, мелких соседей и разлагающихся государств; на европейской арене могла действовать лишь в составе коалиций; в деле обороны выполняла свою задачу лишь в сочетании с необъятностью пространств, редкостью населения и непроходимостью путей. Виртуозом армии крепостных мужиков был Суворов. Французская революция, распахнувшая двери новому обществу и новому военному искусству, вынесла суворовской армии смертный приговор.

Полуотмена крепостного права и введение всеобщей воинской повинности модернизировали армию в тех же пределах, что и страну, т. е. внесли в армию все противоречия нации, которой еще только предстояло проделать свою буржуазную революцию. Правда, царская армия строилась и вооружалась по западным образцам; но это касалось больше формы, чем существа. Между культурным уровнем крестьянина-солдата и уровнем военной техники не было соответствия. В командном составе находили свое выражение невежество, леность

и вороватость господствующих классов России. Промышленность и транспорт неизменно обнаруживали свою несостоятельность перед лицом концентрированных запросов военного времени. Вооруженные, казалось бы, в первый день войны как следует, войска вскоре уже оказывались не только без оружия, но и без сапог. В русско-японской войне царская армия показала, чего она стоит. В эпоху контрреволюции монархия, при помощи Думы, пополнила военные склады и наложила на армию множество заплат, в том числе и на репутацию ее непобедимости. В 1914 году пришла новая, гораздо более тяжкая проверка.

В отношении военного снабжения и финансов Россия сразу оказывается во время войны в рабской зависимости от своих союзников. Это есть лишь военное выражение ее общей зависимости от передовых капиталистических стран. Но помощь со стороны союзников не спасает положения. Недостаток боевых припасов, малочисленность заводов для их производства, редкость железнодорожной сети для их подвоза перевели отсталость России на общепонятный язык поражений, которые напомнили русским национал-либералам, что их предки не совершали буржуазной революции и что потомки поэтому в долгу перед историей.

Первые дни войны были и первыми днями позора. После ряда частных катастроф разразилось весной 1915 года общее отступление. Свою преступную бездарность генералы вымещали на мирном населении. Громадные пространства насильственно опустошались. Человеческая саранча угонялась нагайками в тыл. Внешний разгром дополнялся внутренним.

В ответ на тревожные вопросы своих коллег о положении на фронте военный министр генерал Поливанов отвечал дословно: «Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси» (заседание 4 августа 1915 года). Через неделю генерал Рузский признавался тем же министрам: «Современные требования военной техники для нас непосильны. Во всяком случае, за немцами нам не угнаться». Это не было минутное настроение. Офицер Станкевич передает слова корпусного инженера: «Воевать с немцами безнадежно, ибо мы ничего не в состоянии сделать. Даже новые приемы борьбы превращаются в причины наших неудач». Таких отзывов тьма.

Единственное, что русские генералы делали с размахом, это извлечение человеческого мяса из страны. С говядиной и свининой обращались несравненно экономнее. Серые штабные ничтожества, как Янушкевич при Николае Николаевиче и Алексеев при царе, затыкали все прорехи новыми мобилизациями и утешали себя и союзников колоннами цифр, когда нужны были колонны бойцов. Мобилизовано было около 15 миллионов человек, которые заполняли депо, казармы, этапные пункты, толпились, топтались, наступая друг другу на ноги, ожесточаясь и проклиная. Если для фронта эти человеческие массы были мнимой величиной, то они являлись очень действительным фактором разрухи в тылу. Около 51/2 миллиона числились убитыми, ранеными и в плену. Число дезертиров росло. Уже в июле 1915 года министры причитали: «Бедная Россия. Даже ее армия, которая в былые времена наполняла мир громом побед... и та оказывается состоящею из одних только трусов и дезертиров».

Сами министры, в стиле висельников острившие над «генеральскою отступательною храбростью», тратили в то же время часы на обсуждение проблемы: вывозить или не вывозить из Киева мощи? Царь полагал, что не надо, так как «немцы не рискнут их тронуть, а если тронут – тем хуже для немцев». Но Синод уже приступил к вывозу: «Когда мы выезжаем, то берем с собою самое дорогое». Это происходило не в эпоху Крестовых походов, а в XX веке, когда известия о русских поражениях передавались по радио.

Успехи России против Австро-Венгрии коренились больше в Австро-Венгрии, чем в России. Распадавшаяся габсбургская монархия давно предъявляла спрос на могильщика, не

требуя от него высокой квалификации. Россия и в прошлом имела успех против внутренне разлагавшихся государств, как Турция, Польша или Персия. Юго-Западный фронт русских войск, обращенный против Австро-Венгрии, знал крупные победы, которые выделяли его из других фронтов. Здесь выдвинулось несколько генералов, которые, правда, ничем не доказали своих военных дарований, но не были, по крайней мере, пропитаны насквозь фатализмом неизменно битых военачальников. Из этой среды вышло в дальнейшем несколько белых «героев» гражданской войны.

Все искали, на кого бы свалить вину. Обвиняли поголовно евреев в шпионаже. Громили людей с немецкими фамилиями. Штаб великого князя Николая Николаевича приказал расстрелять жандармского полковника Мясоедова, как немецкого шпиона, которым он, по-видимому, не был. Арестовали Сухомлинова, военного министра, пустого и неопрятного человека, обвинив его, может быть и не без основания, в измене. Британский министр иностранных дел Грэй сказал председателю русской парламентской делегации: Ваше правительство очень смелое, если решается во время войны обвинить военного министра в измене». Штабы и Дума обвиняли двор в германофильстве. Все вместе завидовали союзникам и ненавидели их. Французское командование щадило свои армии, подставляя русских солдат. Англия раскачивалась медленно. В гостиных Петрограда и штабах фронта мило шутили: «Англия поклялась держаться до последней капли крови... русского солдата». Эти шуточки ползли вниз и доползали до фронта. «Все для войны!» – говорили министры, депутаты, генералы, журналисты. «Да, – начинал размышлять в окопе солдат, – они все готовы воевать до последней капли... моей крови».

Русская армия потеряла за всю войну убитыми более, чем какая-либо армия, участвовавшая в войне народов, именно около 2 1/2 миллиона душ, или 40 % потерь всех армий Антанты. В первые месяцы солдаты гибли под снарядами не рассуждая или рассуждая мало. Но у них накаплился со дня на день опыт, горький опыт низов, которыми не умеют командовать. Они измеряли масштаб генеральской путаницы бесцельными передвижениями на отстающих подошвах и числом несъеденных обедов. От кровавой мешанины людей и вещей исходило обобщающее слово: *бессмыслица*, которое на солдатском языке заменялось другим, более сочным словом.

Быстрее всего разлагалась крестьянская пехота. Артиллерия, с высоким процентом промышленных рабочих, отличается вообще несравненно большей восприимчивостью к революционным идеям: это ярко сказалось в 1905 году. Если в 1917-м артиллерия, наоборот, обнаружила большой консерватизм, чем пехота, то причина в том, что через пехотные части, как через решето, проходили все новые и все менее обработанные человеческие массы; артиллерия же, несшая неизмеримо меньше потерь, сохраняла старые кадры. То же наблюдалось и в других специальных войсках. Но в конце концов сдавала и артиллерия.

Во время отступления из Галиции издан был секретный приказ Верховного главнокомандующего: пороть солдат розгами за дезертирство и другие преступления. Солдат Пирейко рассказывает: «Стали пороть солдат розгами за самый мельчайший проступок, например за самовольную отлучку из части на несколько часов, а иногда просто пороли для того, чтобы розгами поднять воинский дух». Уже 17 сентября 1915 года Куропаткин записывал, ссылаясь на Гучкова: «Нижние чины начали войну с подъемом. Теперь утомлены и от постоянного отступления потеряли веру в победу». В это же приблизительно время министр внутренних дел отзывался о находящихся в Москве 30 000 выздоравливающих солдат:

«Это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, вступающая в стычки с городскими (недавно один был убит солдатами), отбивающая арестованных и т. д. Несомненно, что в случае беспорядков вся эта орда встанет на сторону толпы». Тот же солдат Пирейко пишет: «Все поголовно интересовались только миром... Кто победит и какой

будет мир – это меньше всего интересовало армию: ей нужен был мир во что бы то ни стало, ибо она устала от войны».

Наблюдательная женщина С. Федорченко подслушала, в качестве сестры милосердия, разговоры солдат, почти что мысли их, и умело записала на разрозненных страничках. Получившаяся таким путем небольшая книжка «Народ на войне» позволяет заглянуть в ту лабораторию, где бомбы, колючая проволока, удушливые газы и низость властей обрабатывали в течение долгих месяцев сознание нескольких миллионов русских крестьян и где наряду с человеческими костями хрустели вековые предрассудки. Во многих самодельных солдатских афоризмах заключались уже лозунги грядущей гражданской войны.

Генерал Рузский жаловался в декабре 1916 года, что Рига – несчастье Северного фронта. Это «распропагандированное гнездо», как и Двинск. Генерал Брусилов подтверждал: из рижского района части прибывали деморализованными, солдаты отказывались идти в атаку, одного ротного подняли на штыки, пришлось расстрелять несколько человек, и пр. «Почва для окончательного разложения армии имелась налицо задолго до переворота», – признает Родзянко, связанный с офицерством и посещавший фронт.

Первоначально разрозненные революционные элементы тонули в армии почти бесследно. Но по мере роста общего недовольства они всплывали. Отправка на фронт, в виде кары, рабочих-забастовщиков пополняла ряды агитаторов, а отступления создавали для них благоприятную аудиторию. «Армия в тылу и в особенности на фронте, – доносит охранка, – полна элементами, из которых одни способны стать активной силой восстания, а другие могут лишь отказаться от умирительных действий». Петроградское губернское жандармское управление доносит в октябре 1916 года, на основании доклада уполномоченного Земского союза, что настроение в армии тревожное, отношения между офицерами и солдатами крайне натянутые, имеют место даже кровавые столкновения, повсюду тысячами встречаются дезертиры. «Всякий, побывавший вблизи армии, должен вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск». Из осторожности доклад прибавляет, что хотя многое в этих сообщениях и кажется маловероятным, однако приходится верить, так как многие врачи, вернувшиеся из действующей армии, делали сообщения в том же духе.

Настроения тыла отвечали настроениям фронта. На конференции кадетской партии в октябре 1916 года большинство делегатов отмечало апатию и неверие в победоносный исход войны – «во всех слоях населения, в особенности же в деревне и в среде городской бедноты». 30 октября 1916 года директор департамента полиции писал в сводке донесений о «наблюдаемом повсеместно и во всех слоях населения как бы утомлении войной и жажде скорейшего мира, безразлично, на каких бы условиях таковой ни был заключен».

Через несколько месяцев все эти господа, депутаты и полицейские, генералы и земские уполномоченные, врачи и бывшие жандармы, будут одинаково утверждать, что революция убила в армии патриотизм и что верную победу вырвали у них из рук большевики.

* * *

Корифеями в хоре воинствующего патриотизма выступали, без сомнения, конституционалисты-демократы (кадеты). Разорвав свои проблематические связи с революцией еще в конце 1905 года, либерализм с начала контрреволюции поднял знамя империализма. Одно вытекало из другого: раз нет возможности очистить страну от феодального хлама, чтобы обеспечить буржуазии господствующее положение, остается заключить союз с монархией и дворянством, чтобы обеспечить капиталу лучшее положение на мировой арене. Если верно, что мировую катастрофу готовили с разных концов, так что она явилась, до некоторой степени, неожиданной даже для наиболее ответственных ее организаторов, то столь же

несомненно, что в подготовке ее русский либерализм, как вдохновитель внешней политики монархии, занимал не последнее место. Войну 1914 года вожди русской буржуазии с полным правом встретили, как свою войну. В торжественном заседании Государственной думы 26 июля 1914 года представитель кадетской фракции заявил: «Мы не ставим условий и требований, мы просто кладем на весы твердую волю одолеть противника». Национальное единение стало и в России официальной доктриной. Во время патриотических манифестаций в Москве оберцеремониймейстер граф Бенкендорф заявил дипломатам: «Вот вам революция, которую нам предсказывали в Берлине!» «Подобная мысль, — поясняет французский посол Палеолог, — по-видимому, захватывает всех». Люди считали своим долгом питать и сеять иллюзии в обстановке, которая, казалось бы, начисто их исключала.

Отрезвляющих уроков пришлось ждать недолго. Уже вскоре после начала войны один из наиболее экспансивных кадетов, адвокат и помещик Родичев, воскликнул на заседании Центрального комитета своей партии: «Да неужели вы думаете, что с этими дураками можно победить!» События показали, что с дураками победить нельзя. Потеряв, на добрую половину, веру в победу, либерализм пытался использовать инерцию войны для того, чтобы произвести чистку камарильи и принудить монархию к соглашению. Главным орудием для этой цели служило обвинение придворной партии в германофильстве и подготовке сепаратного мира.

Весной 1915 года, когда безоружные войска отступали по всему фронту, в правительственных сферах решено было, не без давления союзников, привлечь инициативу частной промышленности к работе на армию. Созданное с этой целью Особое совещание включало, наряду с бюрократами, наиболее влиятельных промышленных деятелей. Земский и городской союзы, возникшие в начале войны, и военно-промышленные комитеты, созданные весной 1915 года, стали опорными позициями буржуазии в борьбе за победу и за власть. Государственная дума, опираясь на эти организации, должна была увереннее выступать как посредница между буржуазией и монархией.

Широкие политические перспективы не отвлекали, однако, взоров от полновесных задач дня. Из Особого совещания, как из центрального резервуара, десятки и сотни миллионов, слагавшихся в миллиарды, распределялись по разветвленным каналам, обильно орошая промышленность и питая по пути множество appetitов. В Государственной думе и в печати оглашались некоторые военные прибыли за 1915–1916 годы: товарищество московских либеральных текстильщиков Рябушинских показало 75 % чистой прибыли; тверская мануфактура — даже 111 %; меднопрокатный завод Кольчугина принес свыше 12 миллионов при основном капитале в 10 миллионов. В этом секторе добродетель патриотизма награждалась щедро и притом немедленно.

Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма. Громадные состояния возникали из кровавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешал придворному ювелиру Фаберже хвалиться тем, что никогда еще он не делал таких прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой 1915/16 года, и не покупалось столько бриллиантов. Ночные учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми, слишком старыми для фронта, но достаточно молодыми для радостей жизни. Великие князья были не последними из участников пира во время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много. Сверху падал непрерывный золотой дождь. «Общество» подставляло руки и карманы, аристократические дамы высоко поднимали подолы, все шлепали по кровавой грязи — банкиры, интенданты, промышленники, царские и великокняжеские балерины, православные иерархи, фрейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и осо-

бенно племянницы. Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира.

Общие барыши, внешние поражения, внутренние опасности сблизили между собою партии имущих классов. Разъединенная накануне войны Дума получила в 1915 году свое патриотически-оппозиционное большинство, принявшее название «прогрессивного блока». Официальной целью его было объявлено, разумеется, «удовлетворение нужд, вызванных войною». Слева не вошли в блок социал-демократы и трудовики, справа – заведомо черносотенные группировки. Все остальные фракции Думы – кадеты, прогрессисты, три группы октябристов, центр и часть националистов – входили в блок или примыкали к нему, как и национальные группы: поляки, литовцы, мусульмане, евреи и пр. Чтобы не испугать царя формулой ответственного министерства, блок требовал «объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны». Министр внутренних дел князь Щербатов тогда же охарактеризовал прогрессивный блок как временное «объединение, вызванное опасениями социальной революции». Чтобы понять это, не нужно было, впрочем, большой проницательности. Милюков, возглавлявший кадет, а тем самым и оппозиционный блок, говорил на конференции своей партии: «Мы ходим по вулкану... Напряжение достигло последнего предела... Достаточно неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар... Какова бы ни была власть, – худа или хороша, – но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо».

Надежда на то, что царь под тяжестью поражений пойдет на уступки, была так велика, что в либеральной печати появился в августе готовый список предполагаемого «кабинета доверия», с председателем Думы Родзянко в качестве премьера (по другой версии, на эту роль намечался председатель Земского союза князь Львов), с министром внутренних дел – Гучковым, иностранных дел – Милюковым и т. д. Большинство этих лиц, предназначавших себя для союза с царем против революции, оказались через полтора года членами «революционного» правительства. Такие выходы история позволяла себе не раз. На этот раз шутка оказалась, по крайней мере, короткой.

Большинство министров кабинета Горемыкина было не менее кадет запугано ходом дел и потому склонялось к соглашению с прогрессивным блоком. «Правительство, которое не имеет за собою доверия ни носителя верховной власти, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, не может не только работать, но и существовать. Это очевидный абсурд». Такими словами князь Щербатов оценивал в августе 1915 года то правительство, в котором он сам состоял министром внутренних дел. «Если только обставить все прилично и дать лазейку, – говорил министр иностранных дел Сазонов, – то кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков – величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы». С своей стороны, и Милюков считал, что прогрессивному блоку придется «кое в чем поступиться». Торговаться готовы были, следовательно, обе стороны, и дело казалось совсем на мази. Но 29 августа премьер Горемыкин, отягощенный годами и почестями бюрократ, старый циник, делавший политику меж двух гранпасьянсов и отговаривавшийся от всяких жалоб тем, что война его «не касается», выехал в Ставку к царю с докладом и вернулся с сообщением, что все и вся должны оставаться на месте, кроме строптивой Думы, которая должна быть распущена 3 сентября. Чтение царского указа о роспуске Думы было выслушано без единого слова протеста: депутаты прокричали царю «ура» и разошлись.

Каким же образом царское правительство, ни на кого, по собственному признанию, не опиравшееся, продержалось после этого еще свыше полутора лет? Временные успехи русских войск оказали несомненно свое действие, подкрепленное действием благодатного золотого дождя. Успехи на фронте, правда, скоро прекратились, но прибыли в тылу продолжались. Однако главная причина упрочения монархии за двенадцать месяцев до ее низвер-

жения коренилась в резкой дифференциации народного недовольства. Начальник московского охранного отделения доносил о поправении буржуазии под влиянием «страха перед возможностью революционных, после войны, эксцессов»: во время войны, как видим, революция все еще считалась исключенной. Промышленников тревожило, сверх того, «заигрывание некоторых руководителей военно-промышленных комитетов с пролетариатом». Общий вывод жандармского полковника Мартынова, для которого не бесследно прошло профессиональное чтение марксистской литературы, гласил, что причиной некоторого улучшения политической обстановки является «все более и более прогрессирующая дифференциация общественных классов, вскрывающая резкие противоречия в их интересах, особенно остро чувствуемые в переживаемое время».

Роспуск Думы в сентябре 1915 года был прямым вызовом буржуазии, а не рабочим. Но в то время как либералы расходились при криках «ура», правда, не очень восторженных, рабочие Петрограда и Москвы ответили стачками протеста. Это еще более охладило либералов: они пуще всего боялись вмешательства непрошеного третьего в их семейный диалог с монархией. Но что делать дальше? Под легкое ворчанье левого крыла либерализм остановил свой выбор на испытанном рецепте: стоять исключительно на легальной почве и сделать бюрократию «как бы ненужной» путем выполнения патриотических функций. Список либерального министерства пришлось во всяком случае отложить.

Положение тем временем ухудшалось автоматически. В мае 1916 года Дума была снова собрана, но никто, собственно, не знал зачем. Призывать к революции Дума во всяком случае не собиралась. А кроме этого ей нечего было сказать. «В этой сессии, – вспоминает Родзянко, – занятия шли вяло, депутаты неисправно посещали заседания... Постоянная борьба казалась бесплодной, правительство ничего не хотело слушать, неурядица росла, и страна шла к гибели». В страхе буржуазии перед революцией и в бессилии буржуазии без революции монархия почерпала в течение 1916 года подобие общественной опоры.

К осени положение еще более обострилось. Бездна войны стала очевидной для всех, возмущение народных масс грозило вот-вот перелиться через край. Атакуя по-прежнему дворцовую партию за «германофильство», либералы считали в то же время необходимым прощупать шансы мира, подготавливая свой завтрашний день. Только так и объясняются стокгольмские переговоры одного из вождей прогрессивного блока, депутата Протопопова, с немецким дипломатом Варбургом в Стокгольме осенью 1916 года. Думская делегация, нанеся дружественные визиты французам и англичанам, могла без труда убедиться в Париже и Лондоне, что дорогие союзники намерены во время войны выжать из России все жизненные соки, чтобы после победы сделать отсталую страну главным полем своей экономической эксплуатации. Разбитая Россия на буксире победоносной Антанты означала бы колониальную Россию. Русским имущим классам не оставалось иного выхода, как попытаться высвободиться из слишком тесных объятий Антанты и найти самостоятельный путь к миру, использовав антагонизм двух могущественных лагерей. Свидание председателя думской делегации с немецким дипломатом, как первый шаг на этом пути, означало и угрозу по адресу союзников с целью добиться уступок, и прощупывание действительной возможности сближения с Германией. Протопопов действовал в согласии не только с царской дипломатией, – самое свидание происходило в присутствии русского посла в Швеции, – но и со всей делегацией Государственной думы. Попутно либералы преследовали этой разведкой немаловажную внутреннюю цель: положись на нас, намекали они царю, и мы тебе устроим сепаратный мир лучше и надежнее Штюрмера. По плану Протопопова, т. е. его вдохновителей, русское правительство должно было известить союзников «за несколько месяцев вперед», что вынуждено прекратить войну, причем если бы союзники отказались от ведения мирных переговоров, Россия должна была заключить сепаратный мир с Германией. В своей исповеди, написанной уже после революции, Протопопов говорит как о чем-то само собою

разумеющемся: «Все разумные люди в России, в числе их едва ли не все лидеры партии “народной свободы” (ка-де), были убеждены, что Россия не в состоянии продолжать войну».

Царь, которому Протопопов по возвращении докладывал о поездке и переговорах, отнесся к идее сепаратного мира с полным сочувствием. Он только не видел оснований привлекать к этому делу либералов. То, что сам Протопопов мимоходом включился в состав дворцовой камарильи, порвав с прогрессивным блоком, объясняется личным характером этого фата, влюбившегося, по собственным словам, в царя и царицу и заодно – в неожиданный портфель министра внутренних дел. Но эпизод протопоповской измены либерализму нисколько не меняет общего смысла либеральной внешней политики как сочетания жадности, трусости и вероломства.

1 ноября снова собралась Дума. Напряжение в стране стало невыносимым. От Думы ждали решительных шагов. Надо было что-нибудь сделать или, по крайней мере, сказать. Прогрессивный блок снова оказался вынужден прибегнуть к парламентским обличениям. Перечисляя с трибуны главнейшие шаги правительства, Милюков каждый раз спрашивал: «Глупость это или измена?» Высокие ноты взяты были и другими депутатами. Правительство почти не нашло защитников. Оно ответило по-своему: речи думских ораторов были запрещены для печати. Они разошлись поэтому в миллионах экземпляров. Не было правительственной канцелярии не только в тылу, но и на фронте, где не переписывались бы запретные речи, нередко с дополнениями, отвечавшими темпераменту переписчика. Резонанс прений 1 ноября был таков, что обдал жутью самих обличителей.

Группа крайних правых, матерых бюрократов, вдохновлявшихся Дурново, усмирителем революции 1905 года, подала в этот момент царю программную записку. Глаз многоопытных сановников, прошедших серьезную полицейскую школу, видел кое-что неплохо и достаточно далеко, и если их рецептура была негодной, то лишь потому, что против болезней старого режима вообще не существовало лекарства. Авторы записки выступали против каких бы то ни было уступок буржуазной оппозиции не потому, что либералы захотят зайти слишком далеко, как думают вульгарные черносотенцы, на которых сановные реакционеры глядели свысока, – нет, беда в том, что либералы «столь слабы, столь разрозненны и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочное». Слабость главной из оппозиционных партий, «конституционно-демократической» (кадетской) определяется уже ее именем: она назвалась демократической, хотя по существу своему буржуазна; будучи в значительной мере партией либеральных помещиков, она вписала в программу принудительный выкуп земли. «Без этих козырей из чужой, не ихней колоды, – пишут тайные советники, пользуясь привычными им образами, – кадеты есть не более как многочисленное сообщество либеральных адвокатов, профессоров и чиновников разных ведомств – ничего более». Иное дело – революционеры. Признание значительности революционных партий записка сопровождает скрежетом зубов: «Опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги (!), есть толпа, готовая и хорошо организованная». Революционные партии «вправе рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетариатом тотчас же, как революционные вожди укажут им чужую землю». Что дало бы при этих условиях установление ответственного министерства? «Полный и окончательный разгром партий правых, постепенное поглощение партий промежуточных: центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов, которая поначалу и получила бы решающее значение. Но кадетам грозила бы та же участь... А затем? Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник». Нельзя отрицать, что реакционно-полицейская злоба поднимается здесь до своеобразного исторического предвиденья.

Положительная программа записки не нова, но последовательна: правительство из беспощадных сторонников самодержавия; упразднение Думы; осадное положение в обеих столицах; подготовка сил для подавления мятежа. Эта программа и была, в сущности, положена в основу правительственной политики последних предреволюционных месяцев. Но успех ее предполагал силу, которая оказалась в руках Дурново зимою 1905 года, но которой уже не существовало осенью 1916 года. Монархия пыталась поэтому задушить страну укладкой и по частям. Министерство было обновлено по принципу «своих» людей, безусловно преданных царю и царице. Но эти «свои», и прежде всего перебежчик Протопопов, были ничтожны и жалки. Дума не была упразднена, но снова распущена. Объявление осадного положения в Петрограде было прибережено для того момента, когда революция уже одержала победу. А военные силы, подготовленные для подавления мятежа, оказались сами охвачены мятежом. Все это обнаружилось уже через два-три месяца.

Либерализм тем временем делал последние усилия спасти положение. Все организации цензовой буржуазии поддерживали ноябрьские речи думской оппозиции рядом новых заявлений. Самой дерзкой явилась резолюция союза городов 9 декабря: «Безответственные преступники, изуверы готовят России поражение, позор и рабство». Государственная дума призывалась «не расходиться до тех пор, пока создание ответственного правительства не будет достигнуто». Даже Государственный совет, орган бюрократии и крупной собственности, высказался за призыв к власти лиц, пользующихся доверием страны. Подобное же ходатайство возбудил и съезд объединенного дворянства: заговорили покрытые мохом камни. Но ничто не изменилось. Монархия не выпускала остатки власти из рук.

Последняя сессия последней Думы, после колебаний и проволочек, была назначена на 14 февраля 1917 года. До пришествия революции оставалось меньше двух недель. Ждали демонстраций. В кадетском органе «Речь» рядом с объявлением начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова, запрещающим демонстрации, напечатано было письмо Милюкова, предостерегавшее рабочих против «дурных и опасных советов», исходящих из «темного источника». Несмотря на стачки, открытие Думы обошлось сравнительно спокойно. Делая вид, что вопрос о власти ее больше не интересует, Дума занялась хоть и острым, но чисто деловым вопросом: продовольствием. Настроение было вялое, вспоминал впоследствии Родзянко, «чувствовалось бессилие Думы, утомленность в бесполезной борьбе». Милюков повторял, что прогрессивный блок «будет действовать словом и только словом». Такою Дума вступила в водоворот Февральской революции.

Пролетариат и крестьянство

Русский пролетариат проделывал свои первые шаги в политических условиях деспотического государства. Запрещенные законом стачки, подпольные кружки, нелегальные прокламации, уличные демонстрации, столкновения с полицией и войсками – такова была школа, созданная сочетанием условий быстро развивающегося капитализма и медленно сдающего свои позиции абсолютизма. Сосредоточенность рабочих на гигантских предприятиях, концентрированный характер государственного гнета, наконец, импульсивность молодого и свежего пролетариата привели к тому, что политическая стачка, столь редкая на Западе, стала в России основным методом борьбы.

Годы Число участн. полит. стачек (в тысячах)¹

1903.....	87*
1904.....	25*
1905.....	1843
1906.....	661
1907.....	540
1908.....	93
1909.....	8
1910.....	4
1911.....	8
1912.....	550
1913.....	502
1914(первая половина)...	1059
1915.....	156
1916.....	310
1917 (январь – февраль)...	575

Цифры рабочих стачек, с начала нынешнего столетия, являются наиболее поучительными индексами политической истории России. При всем желании не загромождать текст цифрами невозможно отказаться от приведения таблицы политических стачек в России за период 1903–1917 годов. Данные, сведенные к своему простейшему выражению, относятся только к предприятиям, подчиненным фабричной инспекции; железные дороги, горнозаводская промышленность, ремесленные и вообще мелкие предприятия, не говоря уже о сельском хозяйстве, по разным причинам не входят в подсчет. Но изменения стачечной кривой по периодам выступают от этого не менее отчетливо.

Пред нами единственная в своем роде кривая политической температуры нации, несущей в своем чреве великую революцию. В отсталой стране, с малочисленным пролетариатом – в предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, около 1 1/2 миллиона рабочих в 1905 году, около 2 миллионов – в 1917 году! – стачечное движение получает такой размах, какого оно не знало раньше нигде в мире. При слабости мелкобуржуазной демократии, при раздробленности и политической слепоте крестьянского движения революционная стачка рабочих становится тараном, который пробуждающаяся нация направляет против стены абсолютизма. 1 843 000 участников политических стачек одного 1905 года – рабочие, участвовавшие в нескольких стачках, засчитаны здесь, разумеется, повторно, – одно это число позволило бы нам указать пальцем в таблице год революции, если бы мы ничего больше не знали о политическом календаре России.

¹ За 1903 и 1904 годы данные относятся ко всем вообще стачкам, при несомненном преобладании экономических.

За 1904 год, первый год Русско-японской войны, фабричная инспекция показала всего лишь 25 тысяч стачечников. В 1905 году политических и экономических стачечников вместе было 2863 тысячи, в 115 раз больше, чем в предшествующем году. Этот поразительный скачок сам по себе наводит на ту мысль, что пролетариат, вынужденный ходом событий импровизировать такую небывалую революционную активность, должен был, какой угодно ценою, выдвинуть из своих недр организацию, отвечающую размаху борьбы и грандиозности задач: это и были *советы*, рожденные первой революцией и ставшие органами всеобщей стачки и борьбы за власть.

Разбитый в декабрьском восстании 1905 года пролетариат делает героические усилия отстоять часть завоеванных позиций в течение двух следующих годов, которые, как показывают цифры стачек, еще непосредственно примыкают к революции, являясь, однако, уже годами отлива. Четыре дальнейших года (1908–1911) выступают в зеркале стачечной статистики как годы победоносной контрреволюции. Совпадающий с ней промышленный кризис еще больше истощает и без того обескровленный пролетариат. Глубина упадка симметрична высоте подъема. Конвульсии нации находят свой отпечаток в этих простых цифрах.

Промышленное оживление, начавшееся в 1910 году, ставит рабочих на ноги и дает новый толчок их энергии. Цифры 1912–1914 годов почти повторяют данные 1905–1907 годов, но в обратном порядке: не от подъема к упадку, а от упадка к подъему. На новых, более высоких исторических основах – теперь больше рабочих, и у них больше опыта – открывается новое революционное наступление. Первое полугодие 1914 года явно приближается по числу политических стачечников к кульминационному году первой революции. Но разражается война и круто обрывает этот процесс. Первые ее месяцы запечатлены политической неподвижностью рабочего класса. Но уже весной 1915 года оцепенение начинает проходить. Открывается новый цикл политических стачек, который в феврале 1917 года разрешается восстанием рабочих и солдат.

Резкие приливы и отливы массовой борьбы делали русский пролетариат на протяжении нескольких лет как бы неузнаваемым. Заводы, которые два-три года тому назад единодушно бастовали по поводу какого-либо отдельного акта полицейского произвола, сегодня совершенно теряли революционный облик и оставляли без отпора самые чудовищные преступления властей. Большие поражения обескураживают надолго. Революционные элементы теряют власть над массой. В ее сознании поднимаются вверх неперегоревшие предрассудки и суеверия. Серые выходцы деревни разбавляют тем временем рабочие ряды. Скептики иронически покачивают головами. Так было в 1907–1911 годах. Но молекулярные процессы в массах залечивают психические раны поражений. Новый поворот событий или подспудный экономический толчок открывает новый политический цикл. Революционные элементы снова находят свою аудиторию. Борьба возрождается на более высокой ступени.

Для понимания двух главных течений в русском рабочем классе важно иметь в виду, что меньшевизм окончательно оформился в годы реакции и отлива, опираясь главным образом на тонкий слой рабочих, порвавших с революцией; тогда как большевизм, жестоко разгромленный в период реакции, стал быстро подниматься в годы перед войной на гребне нового революционного прилива. «Наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, к сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина», – такими словами оценивал департамент полиции работу большевиков за годы, предшествовавшие войне.

В июле 1914 года, когда дипломаты вбивали последние гвозди в крест, предназначенный для распятия Европы, Петроград кипел революционным котлом. Возлагать венок на гробницу Александра III президенту Французской республики Пуанкаре пришлось под последние отголоски уличной борьбы и первые звуки патриотических манифестаций.

Привело ли бы наступательное массовое движение 1912–1914 годов непосредственно к низвержению царизма, если бы не врезалась война? Ответить на этот вопрос вряд ли возможно с полной уверенностью. Процесс неотвратимо вел к революции. Но через какие этапы пришлось бы при этом пройти? Не подстерегало ли его еще одно поражение? Какой срок понадобился бы рабочим, чтобы поднять крестьян и завоевать армию? Во всех этих направлениях возможны только догадки. Война, во всяком случае, первоначально дала процессу задний ход, чтобы тем более мощно ускорить его на следующей стадии и обеспечить ему сокрушительную победу.

При первом звуке барабана революционное движение замерло. Наиболее активные слои рабочих оказались мобилизованы. Революционные элементы выбрасывались с заводов на фронт. За стачки налагались суровые кары. Рабочая печать была сметена. Профессиональные союзы задушены. В мастерские вливались сотни тысяч женщин, подростков, крестьян. Политически война, в сочетании с крушением Интернационала, чрезвычайно дезориентировала массы и дала возможность поднявшей голову заводской администрации выступать патриотически от имени заводов, увлекая за собой значительную часть рабочих и заставляя выжидательно замкнуться наиболее смелых и решительных. Революционная мысль чуть теплилась в небольших и притихших кружках. Назвать себя «большевиком» в это время никто на заводах не отваживался, чтобы не подвергнуться аресту, а то и побоям со стороны отсталых рабочих.

Большевистская фракция в Думе, слабая по личному составу, оказалась в момент возникновения войны не на высоте. Вместе с депутатами-меньшевиками она внесла декларацию, в которой обязывалась «защищать культурные блага народа от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили». Дума аплодисментами подчеркнула эту сдачу позиции. Из русских организаций и групп партии ни одна не заняла открыто пораженческой позиции, которую за границей провозгласил Ленин. Однако процент патриотов среди большевиков оказался незначительным. В противовес народникам и меньшевикам, большевики уже с 1914 года стали разворачивать в массах печатную и устную агитацию против войны. Думские депутаты вскоре оправились от растерянности и возобновили революционную работу, о которой власти были очень близко осведомлены благодаря разветвленной системе провокации. Достаточно сказать, что из семи членов петербургского комитета партии накануне войны три состояли на службе охраны. Так царизм играл в жмурки с революцией. В ноябре депутаты-большевики были арестованы. Начался общий разгром партии во всей стране. В феврале 1915 года дело фракции слушалось в судебной палате. Депутаты держали себя с осторожностью. Каменев, теоретический вдохновитель фракции, отмежевался от пораженческой позиции Ленина, как и Петровский, нынешний председатель Центрального Исполнительного комитета на Украине. Департамент полиции с удовлетворением отмечал, что суровый приговор над депутатами не вызвал никакого протестующего движения со стороны рабочих.

Казалось, что война подменила рабочий класс. Так оно в значительной мере и было: в Петрограде состав рабочих обновился чуть не на 40 %. Революционная преемственность резко нарушилась. То, что было до войны, в том числе и думская фракция большевиков, сразу отошло назад и почти потонуло в забвенье. Но под ненадежным покровом спокойствия, патриотизма, отчасти даже монархизма в массах накапливались настроения нового взрыва.

В августе 1915 года царские министры сообщали друг другу, что рабочие «повсюду ищут измену, предательство, саботаж в пользу немцев и увлечены поиском виновников наших неудач на фронте». Действительно, в этот период пробуждающаяся массовая критика, отчасти – искренно, отчасти – ради покровительственной окраски, исходила нередко из «обороны отечества» Но эта идея была только точкой отправления. Недовольство рабо-

чих пролагает себе все более глубокие ходы, заставляя умолкнуть мастеров, черносотенных рабочих, прислужников администрации и позволяя поднять голову рабочим-большевикам.

От критики массы переходят к действию. Возмущение находит себе выход прежде всего в продовольственных волнениях, которые кое-где принимают форму локальных мятежей. Женщины, старики, подростки чувствуют себя на рынке или на площади независимее и смелее, чем военнообязанные рабочие на заводах. В Москве движение выливается в мае в немецкий погром. Хотя участниками его являются главным образом городские отбросы, орудующие под протекторатом полиции, однако самая возможность погрома в промышленной Москве свидетельствует о том, что рабочие еще не пробудились настолько, чтобы навязать свои лозунги и свою дисциплину выбитому из равновесия мелкому городскому люду. Распространяясь по всей стране, продовольственные волнения разрушают гипноз войны и пролагают дорогу стачкам.

Прилив сырой рабочей силы на заводы и жадная погоня за военными барышами повели за собой повсеместно ухудшение условий труда и возродили наиболее грубые приемы эксплуатации. Рост дороговизны автоматически снижал заработную плату. Экономические стачки явились неизбежным рефлексом массы, тем более бурным, чем дольше он задерживался. Стачки сопровождались митингами, вынесением политических резолюций, стычками с полицией, нередко стрельбой и жертвами.

Борьба охватывает прежде всего центральный текстильный район. 5 июня полиция дает залп по ткачам в Костроме: 4 убитых, 9 раненых. 10 августа войска расстреливают иваново-вознесенских рабочих: 16 убитых, 30 раненых. В движении текстильщиков замешаны солдаты местного батальона. Стачки протеста откликаются в разных частях страны на расстрел в Иваново-Вознесенске. Параллельно разливается экономическая борьба. Текстильщики идут нередко в первых рядах. По сравнению с первой половиной 1914 года движение, по силе напора и ясности лозунгов, представляет большой шаг назад. Немудрено: в борьбу втягиваются в значительной мере сырые массы, при полном расстройстве руководящего слоя рабочих. Тем не менее уже в первых стачках войны слышится приближение больших боев. Министр юстиции Хвостов говорил 16 августа: «Если сейчас не происходит вооруженных выступлений рабочих, то исключительно потому, что у них нет организации». Еще точнее выразился Горемыкин: «Вопрос у рабочих вожаков в недостатке организации, разбитой арестом пяти членов Думы». Министр внутренних дел добавил: «Членов Думы (большевиков) амнистировать нельзя – они организующий центр рабочего движения в наиболее опасных его проявлениях». Эти люди во всяком случае не ошибались насчет того, где подлинный враг.

В то время как министерство, даже в момент величайшего замешательства и готовности к либеральным уступкам, считало необходимым по-прежнему бить рабочую революцию по голове, т. е. по большевикам, крупная буржуазия стремилась наладить сотрудничество с меньшевиками. Испуганные размахом стачек либеральные промышленники сделали попытку наложить патриотическую дисциплину на рабочих, включив их в состав представителей в состав военно-промышленных комитетов. Министр внутренних дел жаловался на то, что против затеи Гучкова бороться очень трудно: «Все это дело ведется под патриотическим флагом и во имя интересов обороны». Нужно, однако, отметить, что и сама полиция избегала арестовывать социал-патриотов, видя в них косвенных союзников по борьбе против стачек и революционных «эксцессов». На излишнем доверии к силе патриотического социализма основывалось убеждение охраны в том, что, пока длится война, восстания не будет.

При выборах в военно-промышленный комитет оборонцы, возглавлявшиеся энергичным рабочим-металлистом Гвоздевым, – мы встретим его позже министром труда в коалиционном правительстве революции, – оказались в меньшинстве. Они воспользовались, однако, поддержкой не только либеральной буржуазии, но и бюрократии, чтобы опрокинуть бойкотистов, руководимых большевиками, и навязать петербургскому пролетариату представи-

тельство в органах промышленного патриотизма. Позиция меньшевиков была ясно выражена в речи, с какою один из их представителей обратился впоследствии к промышленникам в комитете: «Вы должны потребовать, чтобы ныне существующая бюрократическая власть сошла со сцены, уступив свое место вам, как наследникам настоящего строя». Молодая политическая дружба росла не по дням, а по часам. После переворота она принесет свои зрелые плоды.

Война произвела в подполье ужасающие опустошения. Централизованной партийной организации, после ареста думской фракции, у большевиков не было. Местные комитеты существовали эпизодически и не всегда имели связь с районами. Действовали разрозненные группы, кружки, одиночки. Однако начавшееся оживление стачечной борьбы придавало им на заводах дух и силы. Постепенно они находили друг друга, сознавая районные связи. Работа в подполье возродилась. В департаменте полиции писали позже: «Ленинцы, имеющие за собой в России преобладающее большинство подпольных социал-демократических организаций, выпустили с начала войны в наиболее крупных своих центрах (как-то: Петроград, Москва, Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирская губ., Самара) значительное количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, низвержения существующего правительства и устройства республики, причем эта работа имела своим осязательным результатом устройство рабочими забастовок и беспорядков».

Традиционная годовщина шествия рабочих к Зимнему дворцу, прошедшая почти неотмеченной год тому назад, вызывает широкую стачку 9 января 1916 года. Забастовочное движение возрастает в этом году вдвое. Столкновения с полицией сопровождают каждую большую и упорную стачку. По отношению к войскам рабочие ведут себя с демонстративным дружелюбием, и охранка не раз отмечает этот тревожный факт.

Военная промышленность разбухала, пожирая вокруг себя все ресурсы и подкапываясь под свои собственные основы. Мирные отрасли производства начали замирать. Из регулирования хозяйства, несмотря на все планы, ничего не вышло. Бюрократия, уже не способная взять это дело в свои руки, при сопротивлении мощных военно-промышленных комитетов, не соглашалась в то же время предоставить регулирующую роль буржуазии. Хаос возрастал. Умелые рабочие заменялись неумелыми. Угольные копи, заводы и фабрики Польши скоро оказались потеряны: в течение первого года войны отпало около 1/5 части промышленных сил страны. До 50 % всей продукции шло на нужды армии и войны, в том числе около 75 % производимых в стране тканей. Перегруженный транспорт оказывался не в силах доставлять заводам необходимые количества топлива и сырья. Война не только поглощала весь текущий национальный доход, но и серьезно приступила к расточению основного капитала страны.

Промышленники все меньше шли на уступки рабочим, а правительство по-прежнему отвечало на каждую стачку суровыми репрессиями. Все это толкало мысль рабочих от частного к общему, от экономики к политике:

«Надо забастовать всем сразу». Так возрождается идея всеобщей стачки. Процесс радикализации масс как нельзя убедительнее отражен стачечной статистикой. В 1915 году в политических стачках участвует в 2 1/2 раза меньше рабочих, чем в экономических конфликтах, в 1916 году – в 2 раза меньше; в первые два месяца 1917 года политические стачки захватывают уже в 6 раз больше рабочих, чем экономические. Роль Петрограда определяется одной цифрой: за годы войны на его долю приходится 72 % политических стачечников!

В огне борьбы сторае немало старых верований. Охранка «с болью» доносит, что если бы реагировать, согласно требованиям закона, на «все случаи наглого и открытого оскорбления величества, то число процессов по 103 статье достигло бы небывалой цифры». Однако сознание масс отстаёт все же от их собственного движения. Страшное давление войны и разрухи до такой степени ускоряет процесс борьбы, что широкие массы рабочих не успевают до самого переворота освободиться от многих взглядов и предрассудков, принесенных

из деревни или из мелкобуржуазных городских семей. Этот факт наложит свою печать на первые месяцы Февральской революции.

К концу 1916 года цены растут скачками. К инфляции и расстройству транспорта присоединяется прямой недостаток товаров. Потребление населения сократилось к этому времени более чем наполовину. Кривая рабочего движения круто поднимается вверх. С октября борьба входит в решительную стадию, соединяя все виды недовольства воедино: Петроград берет разбег для февральского прыжка. По заводам прокатывается полоса митингов. Темы: продовольствие, дороговизна, война, правительство. Распространяются большевистские листки. Открываются политические стачки. По выходе с заводов происходят импровизированные демонстрации. Наблюдаются случаи братанья отдельных заводов с солдатами. Вспыхивает бурная стачка протеста против суда над революционными матросами Балтийского флота. Французский посол обращает внимание премьера Штюверма на ставший ему известным факт стрельбы солдат по полиции. Штюверм успокаивает посла: «Репрессия будет беспощадная». В ноябре значительную группу военнообязанных рабочих снимают с петроградских заводов для отправки на фронт. Год заканчивается в грозе и буре.

Сравнивая положение с 1905 годом, директор департамента полиции Васильев приходит к крайне неутешительному выводу: «Оппозиционность настроений достигла таких исключительных размеров, до которых она далеко не доходила в широких массах в упомянутый смутный период». Васильев не надеется на гарнизоны. Даже полицейские стражники кажутся ему не вполне надежными. Охранка доносит об оживлении лозунга всеобщей стачки и об опасности возрождения террора. Прибывающие с позиций солдаты и офицеры говорят про нынешнее положение: «Да чего смотреть-то – взять да приколоть такого-то мерзавца. Будь мы здесь, мы не стали бы долго думать», и т. п.

Шляпников, член Центрального Комитета большевиков, сам бывший рабочий-металлист, рассказывает, как нервно были настроены рабочие в те дни: «Достаточно было иногда свиста, некоторого шума, чтобы рабочие приняли его за сигнал к остановке предприятия». Эта подробность одинаково замечательна и как политический симптом, и как психологический штрих: революция уже сидит в нервах, прежде чем выходит на улицу.

Провинция проходит через те же этапы, только медленнее. Рост массовидности движения и его боевого духа передвигает центр тяжести от текстильщиков к металлистам, от экономических стачек – к политическим, от провинции – к Петрограду. Первые два месяца 1917 года дают 575 000 политических стачечников, из них львиная доля приходится на столицу. Несмотря на новый разгром, произведенный полицией накануне 9 января, в столице бастовало в день кровавой годовщины 150 000 рабочих. Настроение напряженное, металлисты впереди, рабочие все больше чувствуют, что отступления нет. На каждом заводе выделяется активное ядро, чаще всего вокруг большевиков. Забастовки и митинги идут непрерывно в течение первых двух недель февраля, 8-го на Путиловском заводе полицейские подверглись «граду железных обломков и шлака», 14-го, в день открытия Думы, бастовало в Петербурге около 90 тысяч. Несколько предприятий остановилось и в Москве. 16-го власти решили ввести в Петрограде карточки на хлеб. Это новшество ударило по нервам, 19-го возле продовольственных лавок скопилось много народу, особенно женщин, все требовали хлеба. Через день в некоторых частях города произошел разгром булочных. Это были уже зарницы восстания, разразившегося через несколько дней.

Революционную смелость русский пролетариат почерпал не только в себе самом. Уже его положение как меньшинства нации говорит, что он не мог бы ни придать своей борьбе такой размах, ни тем более встать во главе государства, если бы не имел мощной опоры в толщах народа. Такую опору обеспечил ему аграрный вопрос.

Запоздалое полуосвобождение крестьян в 1861 году застало сельское хозяйство почти на том же уровне, на каком оно находилось два столетия назад. Сохранение старого, оборо-

ванного при реформе фонда общинных земель, при архаических приемах обработки, автоматически обостряло кризис деревенского перенаселения, который являлся в то же время кризисом трехполья. Крестьянство тем более чувствовало себя в западне, что процесс развертывался не в XVII, а в XIX веке, т. е. в условиях далеко зашедшего вперед денежного хозяйства, которое предъявляло к деревенной сохе требования, доступные разве лишь трактору. И здесь мы видим сближение отдельных ступеней исторического процесса и, как результат, чрезвычайную остроту противоречий.

Ученые агрономы и экономисты проповедовали, что земли, при условии рациональной обработки, было бы вполне достаточно, т. е. предлагали крестьянину совершить прыжок на более высокую ступень техники и культуры, не задев ни помещика, ни урядника, ни царя. Но ни один хозяйственный режим, тем более земледельческий, наиболее косный, не сходил со сцены, не исчерпав всех своих возможностей. Прежде чем увидеть себя вынужденным перейти к более интенсивной хозяйственной культуре, крестьянин должен был сделать последний опыт расширения своего трехполья. Этого можно было достигнуть, очевидно, только за счет некрестьянских земель. Задыхаясь в тесноте своего земельного простора, под жгучим кнутом фиска и рынка, мужик неминуемо должен был сделать попытку разделаться навсегда с помещиком.

Накануне первой революции общее количество годной земли в пределах Европейской России оценивалось в 280 миллионов десятин. Общинно-надельные земли составляли около 140 миллионов, удельные – свыше 5 миллионов, церковные и монастырские – около 2 1/2 миллиона десятин. Из частновладельческой земли на долю 30 тысяч крупных помещиков, каждый из которых владел свыше 500 десятин, приходилось 70 миллионов десятин, т. е. такое же количество, какое принадлежало примерно десяти миллионам крестьянских семей. Эта земельная статистика составляла готовую программу крестьянской войны.

Ликвидировать помещика в первой революции не удалось. Не вся крестьянская масса поднялась, движение в деревне не совпало с движением в городе, крестьянская армия колебалась и выделила в конце концов достаточные силы для разгрома рабочих. Как только гвардейский Семеновский полк справился с московским восстанием, монархия отбросила всякую мысль об урезке помещичьих земель, как и своих самодержавных прав.

Однако разбитая революция прошла далеко не бесследно для деревни. Правительство отменило старые выкупные платежи и открыло возможность более широкого переселения в Сибирь. Напуганные помещики не только пошли на значительные уступки в отношении арендной платы, но и приступили к усиленной распродаже своих латифундий. Этими плодами революции с успехом пользовались наиболее зажиточные крестьяне, которые имели возможность арендовать и покупать помещичью землю.

Самые широкие ворота для выделения из крестьянства капиталистических фермеров открыл, однако, закон 9 ноября 1906 года, главная реформа победоносной контрреволюции. Предоставляя даже небольшому меньшинству крестьян любой общины право, против воли большинства, выкраивать из общинных земель самостоятельные участки, закон 9 ноября представлял собою разрывной капиталистический снаряд, направленный против общины. Председатель Совета министров Столыпин определил суть новой правительственной политики в крестьянском вопросе как «ставку на сильных». Это значило: толкнуть верхушку крестьян на захват общинных земель путем скупки «освобожденных» участков и превратить новых капиталистических фермеров в опору порядка. Поставить такую задачу было легче, чем разрешить ее. На попытке подменить крестьянский вопрос кулацким контрреволюция и должна была свернуть себе шею.

К 1 января 1916 года 2 1/2 миллиона домохозяев укрепили за собою в личную собственность 17 миллионов десятин. Два других миллиона домохозяев требовали выделения им 14 000 000 десятин. Это выглядело как колоссальный успех реформы. Но выделившиеся

хозяйства были в большинстве своем совершенно нежизнеспособны и представляли только материал для естественного отбора. В то время как наиболее отсталые помещики и мелкие крестьяне усиленно продавали, одни – свои латифундии, другие – свои земельные клочки, в качестве покупателя выступала главным образом новая крестьянская буржуазия. Сельское хозяйство вошло в стадию несомненного капиталистического подъема. Вывоз земледельческих продуктов из России вырос за пять лет (1908–1912) с 1 миллиарда рублей до 1 1/2. Это значило: широкие массы крестьян пролетаризовались, верхи деревни выбрасывали на рынок все больше хлеба.

На смену принудительной общинной связи крестьянства быстро развивалась добровольная кооперация, которая в течение нескольких лет успела проникнуть сравнительно глубоко в крестьянские массы и сейчас же стала предметом либеральной и демократической идеализации. Реальную силу в кооперации имели, однако, только богатые крестьяне, которым она в последнем счете и служила. Народническая интеллигенция, сосредоточившая в крестьянской кооперации главные свои силы, перевела, наконец, свое народолюбие на солидные буржуазные рельсы. Этим, в частности, подготовлялся блок «антикапиталистической» партии эсеров с капиталистической *par excellence* (фр. – по преимуществу. – *Ред.*) партией кадетов.

Либерализм, сохраняя аппараты оппозиции по отношению к аграрной политике реакции, взирал, однако, с великой надеждой на капиталистическое разрушение общины. «В деревне нарождается могущественная мелкая буржуазия, – писал либеральный князь Трубецкой, – по всему своему существу и складу одинаково чуждая как идеалам объединенного дворянства, так и социалистическим мечтаниям».

Но у этой великолепной медали была обратная сторона. Из общины выделялась не только «могущественная мелкая буржуазия», но и ее антиподы. Число крестьян, продавших свои нежизнеспособные наделы, возросло к началу войны до миллиона, что означало не менее пяти миллионов душ пролетаризованного населения. Достаточно взрывчатый материал представляли также миллионы крестьян-пауперов, которым ничего не оставалось, как держаться за свои голодные наделы. В среде крестьянства воспроизводились, следовательно, те противоречия, которые так рано подорвали в России развитие буржуазного общества в целом. Новая деревенская буржуазия, которая должна была создать опору старшим и более могущественным собственникам, оказывалась столь же враждебно противопоставлена основным массам крестьянства, как старые собственники – народу в целом.

Прежде чем стать опорой порядка, крестьянская буржуазия сама нуждалась в крепком порядке, чтобы удержаться на завоеванных позициях. При этих условиях немудрено, если аграрный вопрос во всех государственных думах сохранял свою остроту. Все чувствовали, что последнее слово еще не сказано. Крестьянин-депутат Петриченко заявил однажды с думской трибуны: «Сколько прений ни ведите – другого земного шара не создадите. Придется, значит, эту землю нам отдавать». Этот крестьянин не был ни большевиком, ни эсером; наоборот, это был правый депутат, монархист.

Аграрное движение, затихшее, как и стачечная борьба рабочих, к концу 1907 года, частично возрождается с 1908 года и усиливается в течение следующих лет. Правда, борьба переносится в значительной мере внутрь общины: в этом и состоял политический расчет реакции. Нередки вооруженные столкновения крестьян при разделе общинных земель. Но и борьба против помещика не замирает. Крестьяне усиленно поджигают дворянские усадьбы, урожай, солому, захватывая по пути и отрубников, выделившихся против воли общинников.

В таком состоянии застигла крестьянство война. Правительство увело из деревни около 10 миллионов работников и около 2 миллионов лошадей. Слабые хозяйства еще более ослабели. Выросло число беспосевных. Но и середняки на втором году войны пошли под гору. Враждебное отношение крестьянства к войне обострилось с месяца на месяц. В октябре

1916 года петроградское жандармское управление доносило, что в деревне уже и не верят в успех войны: по словам страховых агентов, учителей, торговцев и пр., «все ждут не дождутся, когда же наконец окончится эта проклятая война». . . Мало того, повсюду обсуждаются политические вопросы, делаются постановления, направленные против помещиков и купцов, устраиваются ячейки разных организаций. . . Объединяющего центра пока нет, но надо думать, что крестьяне объединятся через кооперативы, которые ежечасно растут по всей России». Кое-что здесь преувеличено, кое в чем жандарм забежал вперед, но основное указано несомненно правильно.

Имущие классы не могли не предвидеть, что деревня предъявит счет, но отгоняли мрачные мысли, надеясь как-нибудь извернуться. По этому поводу любознательный французский посол Палеолог беседовал в дни войны с бывшим министром земледелия Кривошеиным, бывшим премьером Коковцевым, крупным помещиком графом Бобринским, председателем Государственной думы Родзянко, крупным промышленником Путиловым и другими именитыми людьми. Вот что ему при этом открылось: для проведения в жизнь радикальной земельной реформы нужна была бы работа постоянной армии в 300 тысяч землемеров в течение не менее 15 лет; но за это время число домохозяйств должно было бы достигнуть 30 миллионов, и, следовательно, все предварительные вычисления оказались бы недействительными. Земельная реформа в глазах помещиков, сановников и банкиров оказывалась, таким образом, квадратурой круга. Незачем говорить, что подобная математическая скрупулезность была совершенно чужда мужику. Он считал, что прежде всего надо выкурить барина, а там видно будет.

Если деревня оставалась, тем не менее, сравнительно мирной в годы войны, то потому, что ее активные силы находились на фронте. Солдаты не забывали о земле, по крайней мере, когда не думали о смерти, и мужицкие мысли о будущем пропитывались в окопах запахом пороха. Но все же крестьянство, даже и обучившееся владеть оружием, одними своими силами никогда не совершило бы аграрно-демократической, т. е. своей собственной, революции. Ему нужно было руководство. Впервые в мировой истории крестьянин должен был найти руководителя в лице рабочего. В этом основное и, можно сказать, исчерпывающее отличие русской революции от всех предшествующих.

В Англии крепостная зависимость исчезла фактически к концу XIV столетия, т. е. за два столетия до того, как она в России возникла, и за 4 1/2 столетия до того, как была отменена. Экспроприация земельной собственности крестьян тянется в Англии, через реформу и две революции, до XIX столетия. Капиталистическое развитие, не форсируемое извне, имело, таким образом, достаточно времени, чтобы ликвидировать самостоятельное крестьянство задолго до того, как пробудился к политической жизни пролетариат.

Во Франции борьба с королевским абсолютизмом, аристократией и князьями церкви вынудила буржуазию, в лице разных ее слоев, в несколько приемов совершить в конце XVIII столетия радикальную аграрную революцию. Самостоятельное крестьянство надолго стало после этого опорой буржуазного порядка и в 1871 году помогло буржуазии справиться с Парижской коммуной.

В Германии буржуазия оказалась не способна на революционное разрешение аграрного вопроса и в 1848 году так же выдала крестьян помещикам, как Лютер за три с лишним столетия до того, во время крестьянской войны, выдал их князьям. С другой стороны, немецкий пролетариат был в середине XIX столетия еще слишком слаб, чтобы взять на себя руководство крестьянством. Капиталистическое развитие Германии получило благодаря этому хоть и не столь растянутый, как в Англии, но все же достаточный срок, чтобы подчинить себе сельское хозяйство, каким оно вышло из незавершенной буржуазной революции.

Крестьянская реформа 1861 года была проведена в России дворянской и чиновничьей монархией, под давлением потребностей буржуазного общества, но при полном политиче-

ском бессилии буржуазии. Характер крестьянской эмансипации был таков, что форсированное капиталистическое преобразование страны неминуемо превращало аграрную проблему в проблему революции. Русские буржуа мечтали об аграрном развитии то французского, то датского, то американского типа – какого угодно, только не русского. Они не догадались, однако, своевременно запастись французской историей или американской социальной структурой. Демократическая интеллигенция, несмотря на свое революционное прошлое, в час решения оказалась с либеральной буржуазией и с помещиками, а не с революционной деревней. Только рабочий класс и мог при таких условиях возглавить крестьянскую революцию.

Закон комбинированного развития запоздалых стран – в смысле своеобразного сочетания элементов отсталости с новейшими факторами – предстает перед нами здесь в наиболее законченном своем виде и дает вместе с тем ключ к основной загадке русской революции. Если бы аграрный вопрос, как наследие варварства старой русской истории, был разрешен буржуазией, если бы он мог быть ею разрешен, русский пролетариат ни в каком случае не мог бы прийти к власти в 1917 году. Чтобы осуществилось советское государство, понадобилось сближение и взаимопроникновение двух факторов совершенно разной исторической природы: крестьянской войны, т. е. движения, характерного для зари буржуазного развития, с пролетарским восстанием, т. е. движением, знаменующим закат буржуазного общества. В этом и состоит 1917 год.

Царь и царица

Эта книга меньше всего задается самодовлеющими психологическими изысканиями, которыми теперь нередко пытаются подменить социальный и исторический анализ. В поле нашего зрения стоят прежде всего великие движущие силы истории, которые имеют сверхличный характер. Монархия является одной из них. Но все эти силы действуют через людей. Монархия же связана с личным началом силою своего принципа. Это само по себе оправдывает интерес к личности монарха, которого ход развития столкнул с революцией. Мы надеемся, кроме того, в дальнейшем хоть отчасти показать, где в личности кончается личное — нередко гораздо ближе, чем кажется, — и как часто «особая примета» лица есть только индивидуальная царапина более высокой закономерности.

Николаю II предки оставили в наследство не только великую Империю, но и революцию. Они не дали ему ни одного качества, которое делало бы его пригодным для управления Империей, даже губернией или уездом. Историческому прибою, который все ближе подкатывал каждый раз свои валы к воротам дворца, последний Романов противопоставлял глухое безучастие: казалось, между его сознанием и его эпохой стояла прозрачная, но абсолютно непроницаемая среда.

Приближавшиеся к царю лица вспоминали после переворота не раз, что в самые трагические моменты царствования, во время сдачи Порт-Артура и потопления флота у Цусимы, десять лет спустя, во время отступления русских войск из Галиции, и еще через два года, в дни, предшествовавшие отречению, когда все вокруг царя были удручены, испуганы, потрясены, один лишь Николай хранил спокойствие. Он по-прежнему справлялся о количестве верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды прошлых охот, анекдоты официальных встреч, вообще интересовался мусором своего обихода, когда над ним гремели громы и извивались молнии. «Что это, — спрашивал себя один из приближенных генералов, — огромная, почти невероятная выдержка, достигнутая воспитанием, вера в божественную предопределенность событий или недостаточная сознательность?» Ответ уже наполовину заключается в вопросе. Так называемую «воспитанность» царя, его умение владеть собою при самых чрезвычайных условиях никак нельзя объяснить одной внешней дрессировкой: суть была во внутреннем безразличии, в скудости душевных сил, в слабости волевых импульсов. Маска безразличия, которую в известных кругах зовут воспитанностью, у Николая естественно сливалась с природным лицом.

Дневник царя ценнее всяких свидетельских показаний: изо дня в день, из года в год тянутся на его страницах удручающие записи душевной пустоты. «Гулял долго и убил две вороны. Пил чай при дневном свете». Прогулка пешком, катанье в лодке. И снова вороны и снова чай. Все на границе физиологии. Упоминание о церковных обрядах делается тем же тоном, что и о выпивке.

В дни, предшествовавшие открытию Государственной думы, когда вся страна сотрясалась конвульсиями, Николай писал: «14 апреля. Гулял в тонкой рубашке и обновил катанье в байдарках. Пил чай на балконе. Стана обедала и каталась с нами. Читал». Ни слова о предмете чтения: сентиментальный английский роман или доклад департамента полиции? «15 апреля. Принял отставку Витте. Обедали Мари и Дмитрий. Отвезли их во дворец».

В день решения о роспуске Думы, когда сановные, как и либеральные, круги переживали пароксизм страха, царь писал в дневнике: «7 июля. Пятница. Очень занятое утро. Опоздали на полчаса на завтрак офицерам... Была гроза и большая духота. Гуляли вместе. Принял Горемыкина; подписал указ о роспуске Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал». Восклицательный знак по поводу предстоящего роспуска Думы есть высшее выражение его эмоций.

Депутаты разогнанной Думы призвали народ отказываться от уплаты налогов и отбывания воинской повинности. Произошел ряд военных восстаний: в Свеаборге, Кронштадте, на судах, в армейских частях; возобновился в небывалых размерах революционный террор против сановников. Царь пишет: «9 июля. Воскресенье. Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица... Погода была отличная. Во время прогулки встретили дядю Мишу, который вчера переехал из Гатчины. До обеда и весь вечер спокойно занимался. Катался в байдарке». Что катался именно в байдарке, указано; а *чем* занимался, не сказано. Так всегда.

И далее в те же роковые дни: «14 июля. Одевшись, поехал на велосипеде в купальню и с наслаждением выкупался в море». «15 июля. Купался два раза. Было очень жарко. Обедали вдвоем. Прошла гроза». «19 июля. Утром купался. Принимали на ферме. Дядя Владимир и Чагин завтракали». Восстания и динамитные взрывы еле задеты единственной оценкой: «милые события!», которая поражает низменным безучастием, недоразвившимся до сознательного цинизма.

«В 9 1/2 ч. утра поехали в Каспийский полк... Долго гулял. Погода была чудная. Купался в море. После чая принял Львова и Гучкова». Ни слова о том, что столь необычный прием двух либералов вызывался попыткой Столыпина включить оппозиционных политиков в свое министерство. Князь Львов, будущий глава Временного правительства, рассказывал тогда же об этом приеме у царя: «Я ожидал увидеть государя убитого горем, а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый разбитной малый в малиновой рубашке».

Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой почерпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем Мещерским, низким, подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны и две революции: между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда безразличия.

Николая не без основания называли фаталистом. Нужно только прибавить, что его фатализм был прямой противоположностью активной веры в свою «звезду». Наоборот, Николай сам считал себя неудачником. Его фатализм был только формой пассивной самозащиты от исторического развития и шел рука об руку с произволом, мелочным по психологическим мотивам, но чудовищным по последствиям. «Хочу, а потому так должно быть, — пишет граф Витте. — Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование, — сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно...»

Николая сравнивали иногда с его полусумасшедшим прапрадедом Павлом, удушенным камарильей с согласия его собственного сына, Александра «благословенного». Этих двух Романовых действительно сближали недоверие ко всем, выросшее из недоверия к себе, мнительность всемогущего ничтожества, чувство отверженности, можно бы сказать, сознание венценосного парии. Но Павел несравненно красочнее, в его сумасбродстве был элемент фантазии, хотя и невменяемой. В потомке же все тускло, ни одной яркой черты.

Николай был не только неустойчив, но и вероломен. Лъстецы называли его шармером, очарователем, за его мягкость с придворными. Но особую ласковость царь проявлял как раз к тем сановникам, которых решил прогнать: очарованный на приеме сверх меры министр находил у себя дома письмо об отставке. Это была своего рода месть за собственное ничтожество.

Николай враждебно отвращался от всего даровитого и крупного. Хорошо он себя чувствовал только в среде совсем бездарных и скудных умом людей, святош, рамоликов, на кото-

рых ему не приходилось глядеть снизу вверх. У него было самолюбие, даже довольно изощренное, но не активное, без крупницы инициативы, завистливо-оборонительное. Он подбирал министров по принципу постоянного снижения. Людей с умом и характером он призывал только в самом крайнем случае, когда не было иного выхода, подобно тому как призывают хирургов для спасения жизни. Так было с Витте, потом со Столыпиным. Царь к обоим относился с худо затаенной враждебностью. Как только проходила острота положения, он торопился разделаться с советниками, которые слишком превосходили его ростом. Отбор действовал настолько систематично, что председатель последней Думы, Родзянко, отважился 7 января 1917 года, когда революция стучалась уже в двери, сказать царю: «Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека: все лучшие удалены или ушли, остались только те, которые пользуются дурной славой».

Все усилия либеральной буржуазии найти общий язык со двором не приводили ни к чему. Неугомонный и шумный Родзянко пытался своими докладами встряхнуть царя! Тщетно! Тот отмалчивался не только от доводов, но даже от дерзостей, подготавливая в тиши роспуск Думы. Великий князь Дмитрий, бывший любимец царя и будущий участник убийства Распутина, жаловался своему сообщнику князю Юсупову на то, что царь в Ставке с каждым днем становится все более безразличным ко всему окружающему. По мнению Дмитрия, царя спаивали каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действовало на его духовные способности. «Ходили слухи, – пишет с своей стороны либеральный историк Милуков, – что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя». Все это было выдумкой или преувеличением. Царю не нужно было обращаться к наркотикам: убийственное «снадобье» было у него в крови. Только проявления его казались особенно поразительны на фоне великих событий войны и внутреннего кризиса, приведшего к революции. Распутин, который был психологом, кратко говорил про царя, что у него «внутри недостает».

Этот тусклый, ровный и «воспитанный» человек был жесток. Не активной, преследующей исторические цели жестокостью Ивана Грозного или Петра, – что у Николая II с ними общего? – но трусливой жестокостью последыша, испугавшегося своей обреченности. Еще на заре своего царствования Николай хвалил «молодцов-фанагорийцев» за расстрел рабочих. Он всегда «читал с удовольствием», как стегали нагайками «стриженных» курсисток или как проламывали черепа беззащитным людям во время еврейских погромов. Коронованный отщепенец тяготел всей душой к отбросам общества, черносотенным громилам, не только щедро платил им из государственной казны, но любил беседовать с ними об их подвигах и миловать их, когда они случайно попадались в убийстве оппозиционных депутатов. Витте, стоявший во главе правительства во время усмирения первой революции, писал в своих мемуарах: «Когда бесполезные жестокие выходки начальников этих отрядов доходили до Государя, то встречали его одобрение и во всяком случае защиту». В ответ на требование прибалтийского генерал-губернатора унять некоего капитана-лейтенанта Рихтера, который «казнил по собственному усмотрению, без всякого суда и лиц не сопротивлявшихся», царь написал на докладе: «Ай да молодец!» Таким поощрениям нет числа. Этот «очарователь», без воли, без цели, без воображения, был страшнее всех тиранов старой и новой истории.

Царь находился под огромным влиянием царицы, которое росло с годами и с затруднениями. Вдвоем они составляли некоторое целое. Уже это сочетание показывает, в какой мере под давлением обстоятельств личное восполняется групповым. Но прежде надо сказать о самой царице.

Морис Палеолог, бывший французский посол в Петрограде во время войны, изощренный психолог для французских академиков и консьержек, дает тщательно зализанный портрет последней царицы: «Нравственное беспокойство, хроническая грусть, беспредельная тоска, чередование подъема и упадка сил, мучительные мысли о потустороннем и неви-

димом мире, суеверие – разве все эти черты, столь ярко проявляющиеся в личности государыни, не являются характерными чертами русского народа?» Как ни странно, в этой слащавой лжи есть крупица правды. Недаром же русский сатирик Салтыков называл министров и губернаторов из балтийских баронов «немцами с русской душой»: несомненно, что именно иноземцы, ничем не связанные с народом, вырабатывали наиболее чистую культуру «истинно русского» администратора.

Но почему все же народ платил такой откровенной ненавистью царице, которая, по словам Палеолога, так полно восприняла его душу? Ответ простой: для оправдания своего нового положения эта немка усваивала себе с холодным неистовством все традиции и внушения русского Средневековья, самого скудного и грубого из всех, в тот период, когда народ делал могучие усилия, чтобы освободиться от собственного средневекового варварства. Этой гессенской принцессой буквально владел демон самодержавия: поднявшись из своего захолустья на высоты византийского деспотизма, она ни за что не хотела с них опустаться. В православии она нашла мистику и магию, приспособленные к ее новой судьбе. Она тем непреклоннее верила в свое призвание, чем обнаженнее становилась мерзость старого режима. С сильным характером и способностью к сухой и черствой экзальтации, царица дополняла безвольного царя, господствуя над ним.

17 марта 1916 года, за год до революции, когда истерзанная страна уже извивалась в клещах поражений и разрухи, царица писала мужу в главную квартиру: «Ты не должен делать послаблений, ответственного министерства и т. д., – всего, что они хотят. Это должна быть твоя война и твой мир и честь твоя и нашей родины и ни в коем случае не Думы. Они не имеют права сказать хотя бы одно слово в этих вопросах». Это была во всяком случае законченная программа, и именно она неизменно одерживала верх над постоянными колебаниями царя.

После отъезда Николая в армию, в качестве фиктивного главнокомандующего, внутренними делами стала открыто распоряжаться царица. Министры являлись к ней с докладами, как к регентше. Она состояла в заговоре с узкой камарильей против Думы, против министров, против генералов Ставки, против всего мира, отчасти и против царя. 6 декабря 1916 года царица писала царю: «...раз ты сказал, что ты хочешь сохранить Протопопова, как он (премьер Трепов) смеет идти против тебя, –хвати кулаком по столу, не уступай, будь хозяином, слушайся твоей твердой женки и нашего Друга, поверь нам». Через три дня опять: «Ты знаешь, что ты прав, держи голову высоко, прикажи Трепову работать с ним... – ударь рукой по столу». Эти фразы кажутся выдуманными. Но они извлечены из подлинных писем. Да и выдумать так нельзя.

13 декабря царица внушает царю снова: «Только не ответственное министерство, на котором все помешались. Все становятся спокойнее и лучше, но хотят почувствовать твою руку. Как давно, уже целые годы, мне говорят то же самое: “Россия любит почувствовать хлыст”, – это *их* природа!» Православная гессенка с виндзорским воспитанием и византийской короной на голове не только «воплощает» русскую душу, но и органически презирает ее: *их* природа требует хлыста, пишет русская царица русскому царю о русском народе за два с половиной месяца до того, как монархия обрушится в пропасть.

При перевесе характера умственно царица не выше мужа, скорее даже ниже его; еще больше, чем он, она ищет общества простаков. Тесная и долголетняя дружба, которая связывала царя и царицу с фрейлиной Вырубовой, дает меру духовного роста самодержавной четы. Вырубова сама себя называла душой, и это не было скромностью. Витте, которому нельзя отказать в метком глазе, характеризует ее как «самую обыкновенную, глупую петербургскую барышню, некрасивую, похожую на пузырь от сдобного теста». В обществе этой особы, за которой подобострастно ухаживали престарелые сановники, послы и финансисты и у которой хватало все же ума не забывать о собственных карманах, царь и царица прово-

дили многие часы, совещались с нею о делах, переписывались с нею и об ней. Она была влиятельнее Государственной думы и даже министерства.

Но сама Вырубова была только медиумом «Друга», авторитет которого возвышался над всеми тремя. «...Это мое *частное* мнение, — пишет царица царю, — я выясню, что думает наш Друг». Мнение Друга не частное, оно решает. «Я крепка, — настаивает царица через несколько недель, — но послушайся меня, *то есть это значит* нашего Друга и доверься нам во всем... Я страдаю за тебя, как за нежного, мягкосердечного ребенка, который нуждается в руководстве, но слушается дурных советчиков, между тем как человек, посланный Богом, говорит ему, что надо делать».

Друг, посланный богом, — это Григорий Распутин.

«...Молитвы и помощь нашего Друга, тогда все пойдет хорошо».

«Если бы у нас не было Его, все бы уже давно было кончено, я в этом совершенно убеждена».

* * *

В течение всего царствования Николая и Александры ко двору свозились знахари и кликуши не только со всей России, но и из других стран. Имелись особые сановные поставщики, которые группировались вокруг очередного оракула, образуя при монархе могущественную верхнюю палату. Не было недостатка ни в старых ханжах, со званием графинь, ни в сановниках, томившихся не у дел, ни в финансистах, арендовавших целые министерства. Ревниво относясь к беспатентной конкуренции со стороны гипнотизеров и колдунов, высокие иерархи православной церкви торопились проложить свои ходы в центральное святилище интриги. Витте называл этот правящий кружок, о который он сам дважды расшибся, «прокаженной дворцовой камарильей».

Чем больше изолировалась династия и чем беспризорнее чувствовал себя самодержец, тем более ему необходима была потусторонняя помощь. Некоторые дикари, чтобы вызвать хорошую погоду, вертят в воздухе дощечкой на веревочке. Царь с царицей пользовались дощечками для самых разнообразных целей. В царском вагоне находилась целая молельня из образов, образков и всяких предметов культа, которые противопоставлялись сперва японской, затем немецкой артиллерии.

Уровень придворного круга, собственно, не так уж менялся из поколения в поколение. При Александре II, прозванном «Освободителем», великие князья искренне верили в домовых и ведьм. При Александре III было не лучше, только спокойнее. «Прокаженная камарилья» существовала всегда, изменяясь в составе и обновляя приемы. Николай II не создал, а унаследовал от предков дворцовую атмосферу дикого средневековья. Но страна за эти десятилетия изменилась, задачи усложнились, культура поднялась, и придворный круг оказался отброшенным далеко назад. Если монархия и делала новым силам уступки из-под палки, то внутренне она совершенно не успевала модернизироваться, наоборот, она замыкалась в себе, дух средневековья сгущался под давлением вражды и страха, пока не принял характер отвратительного кошмара, поднимавшегося над страной.

Под 1 ноября 1905 года, т. е. в самый критический момент первой революции, царь пишет в дневнике: «Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии». Это и был Распутин, сибирский крестьянин с незарастающим шрамом на голове от побоев за конокрадство. Выдвинутый в подходящую минуту «человек божий» скоро нашел себе сановных помощников, вернее, они нашли его, и таким образом сложился новый правящий кружок, который крепко прибрал к рукам царицу и, через нее, царя.

С зимы 1913/14 года в высшем петербургском обществе уже открыто говорилось, что от клики Распутина зависят все высшие назначения, поставки и подряды. Сам «старец»

постепенно превратился в государственное учреждение. Его тщательно охраняли и за ним не менее тщательно следили соперничающие министерства. Филеры департамента полиции вели по часам дневник его жизни и не упускали донести, как при посещении родного села Покровского Распутин в пьяном виде в кровь подрался на улице со своим отцом. В тот же день, 9 сентября 1915 года, Распутин послал две дружественные телеграммы: одну в Царское Село, царице, другую в Ставку, царю.

Эпическим языком филеры регистрировали изо дня в день кутежи Друга. «Вернулся сегодня в 5 часов утра, совершенно пьяный». «В ночь с 25-го на 26-е у Распутина ночевала артистка В.». «Приехал с княгиней Д. (женой камер-юнкера царского двора) в гостиницу Астория...» Тут же рядом: «вернулся домой из Царского Села около 11 часов вечера». «Распутин пришел домой с кн. Ш. очень пьяный и вместе сейчас же ушли». Утром или вечером следующего дня поездка в Царское Село. На участливый вопрос филера, почему старец задумчив, следовал ответ: «Не могу решить, созывать Думу или не созывать?» Потом опять: «Вернулся домой в пять утра, довольно пьян». Так в течение месяцев и годов мелодия разыгрывалась на трех клавишах: «довольно пьян», «очень пьян» и «совершенно пьян». Эти государственной важности сообщения сводил воедино и скреплял подписью жандармский генерал Глобачев.

Расцвет распутинского влияния длился шесть лет, последние годы монархии. «Его жизнь в Петербурге, – рассказывает князь Юсупов, до некоторой степени участник этой жизни, а затем убийца Распутина, – превратилась в сплошной праздник, в хмельной разгул каторжника, которому неожиданно привалило счастье». «В моем распоряжении, – писал председатель Думы Родзянко, – находилась целая масса писем матерей, дочери которых были опозорены наглым развратником». В то же время Распутину обязаны были своими местами митрополит Петроградский Питирим и почти не знавший грамоты архиепископ Варнава. Распутиным держался долго обер-прокурор Святейшего Синода Саблер, и его же волею уволен был премьер Коковцев, не пожелавший принять «старца». Распутин назначил Штюмерера председателем Совета министров, Протопопова – министром внутренних дел, нового обер-прокурора Синода Раева и многих других. Посол Французской республики Палеолог добивался свидания с Распутиным, целовался с ним и восклицал: «Voilà un veritable illumine!» (фр. «Вот подлинный ясновидец!» – *Ред.*), чтобы завоевать таким путем сердце царицы для дела Франции. Еврей Симанович, финансовый агент старца, состоявший на учете сыскной полиции как клубный игрок и ростовщик, провел через Распутина в министерства юстиции совершенно бесчестного субъекта Добровольского.

«Держи перед собой маленький список, – пишет царица царю о новых назначениях, – наш Друг просил, чтобы ты обо всем этом переговорил с Протопоповым». Через два дня: «Наш Друг говорит, что Штюмерер может еще некоторое время оставаться председателем совета министров». И снова: «Протопопов благоговееет перед нашим Другом и будет благословен».

В один из тех дней, когда филеры регистрировали число бутылок и женщин, царица скорбела в письме к царю: Распутина «обвиняли в том, что он целовал женщин и т. д. Почитай апостолов – они всех целовали в виде приветствия». Ссылка на апостолов вряд ли показалась бы убедительной филерам. В другом письме царица идет еще далее. «Во время вечернего Евангелия, – пишет она, – так много думала о нашем Друге: как книжники и фарисеи преследуют Христа, притворяясь, что они такие совершенства... Да, в самом деле, нет пророка в своем отечестве».

Сравнение Распутина с Христом было обычным в этом кругу и совсем не случайным. Испуг перед грозными силами истории был слишком остер, чтобы царская чета могла удовлетвориться безличным богом и бесплотной тенью евангельского Христа. Нужно

было новое пришествие «сына человеческого». В Распутине отверженная и агонизирующая монархия нашла Христа по образу и подобию своему.

«Если бы Распутина не было, — сказал человек старого режима, сенатор Таганцев, — его пришлось бы выдумать». В этих словах гораздо больше содержания, чем мыслилось их автору. Если под именем хулиганства понимать крайнее выражение антисоциальных паразитарных черт на дне общества, то распутинщину можно с полным правом назвать венценосным хулиганством на самой его вершине.

Идея дворцового переворота

Почему же правящие классы, ища спасения от революции, не попытались избавиться от царя и его окружения? Они хотели, но не смели. Не хватало ни веры в свое дело, ни решимости. Идея дворцового переворота носилась в воздухе, доколе не утонула в государственном перевороте. На этом надо остановиться уже для того, чтобы яснее представить себе взаимоотношения монархии и верхов дворянства, бюрократии и буржуазии накануне взрыва.

Имущие классы были сплошь монархическими: силою интересов, привычки и трусости. Но они хотели монархии без Распутина. Монархия им отвечала: берите меня такой, какая я есть. В ответ на требования благопристойного министерства царица посылала царю в Ставку из рук Распутина яблоко и требовала, чтобы царь съел его для укрепления своей воли. «Вспомни, — заклинала она, — что даже месье Филипп (французский шарлатан-гипнотизер) говорил, что нельзя давать конституцию, так как это было бы гибелью твоей и России...» «Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом — раздави всех под собою!»

Какая отвратительная смесь страха, суеверий и злобной отчужденности от страны! Правда, может казаться, что на верхах, по крайней мере, царская семья не так уж одинока: ведь Распутин всегда окружен созвездием великосветских дам, и вообще шаманство владеет аристократией. Но эта мистика страха не связывает, наоборот, разделяет. Каждый спасается по-своему. Многие аристократические дома имеют своих конкурирующих святых. Даже и на петроградских верхах царская семья точно зачумленная, окружена карантинном недоверия и вражды. Фрейлина Вырубова вспоминает: «Я глубоко сознавала и чувствовала во всех окружающих озлобление к тем, кого боготворила, и чувствовала, что озлобление это принимает ужасающие размеры...»

На багровом фоне войны под явственный гул подземных толчков привилегированные не отказывались ни на час от радостей жизни, наоборот, вкушали их запоем. Но на их пирах все чаще появлялся скелет и грозил костяшками пальцев. Им начинало тогда казаться, что все несчастье в отвратительном характере Аликс, в вероломном безволии царя, в этой жадной дуре Вырубовой и в сибирском Христе со шрамом на черепе. Волны невыносимых предчувствий проходили по господствующим классам, сжимаясь спазмами от периферии к центру и все более изолируя ненавистную верхушку Царского Села. Вырубова достаточно ярко выразила тогдашнее самочувствие этой верхушки в своих, вообще говоря, крайне лживых воспоминаниях: «В сотый раз я спрашивала себя: что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все душевно, или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно разобрать, но факт тот: все были в ненормально возбужденном состоянии».

К числу сошедших с ума принадлежала и обширная семья Романовых, вся эта жадная, наглая и всеми ненавидимая свора великих князей и княгинь. Насмерть испуганные, они стремились вырваться из сжимавшегося вокруг них кольца, заискивали перед фрондирующей аристократией, сплетничали про царскую чету и подзадоривали друг друга и свое окружение. Августейшие дяди обратились к царю с увещательными письмами, в которых сквозь почтительность слышался лязг и скрежет зубовный.

Протопопов уже после Октябрьской революции не очень грамотно, но живописно характеризовал настроение верхов: «Даже наиболее высшие классы фрондировали перед революцией. В великосветских салонах и клубах подвергалась резкой и недоброжелательной критике политика правительства; разбирались и обсуждались отношения, которые сложились в царской семье; распространялись анекдотические рассказы про главу государства; писались стихи; многие великие князья открыто посещали эти собрания, и их присутствие

придавало особую достоверность в глазах публики карикатурным рассказам и злостным преувеличениям. Сознание опасности этой игры не пробуждалось до последнего момента».

Особую остроту слухам о дворцовой камарилье придавало обвинение ее в германофильстве и даже в прямой связи с врагом. Шумный и не весьма основательный Родзянко прямо заявляет: «Связь и аналогия стремлений настолько логически очевидны, что сомнений во взаимодействии германского штаба и распутинского кружка для меня, по крайней мере, нет: это не подлежит никакому сомнению». Голая ссылка на «логическую» очевидность весьма ослабляет категорический тон этого свидетельства. Никаких доказательств связи распутинцев с германским штабом не было обнаружено и после переворота. Иначе обстоит дело с так называемым «германофильством». Дело шло, конечно, не о национальных симпатиях и антипатиях немки-царицы, премьера Штюрмера, графини Клейнмихель, министра двора графа Фредерикса и других господ с немецкими фамилиями. Циничные мемуары старой интриганки Клейнмихель с замечательной яркостью показывают, какой сверхнациональный характер отличал верхи аристократии всех стран Европы, связанные узами родства, наследования, презрения ко всему нижестоящему и, last but not least (англ. — последнее, но не менее важное. — Ред.), космополитического адюльтера в старых замках, на фешенебельных курортах и при дворах Европы. Значительно более реальны были органические антипатии придворной челяди к низкопоклонным адвокатам Французской республики и симпатии реакционеров, как с тевтонскими, так и со славянскими именами, к истинно прусскому духу берлинского режима, который столько времени импонировал им своими нафабранными усами, фельдфебельскими ухватками и самоуверенной глупостью.

Но не это решало вопрос. Опасность вытекала из самой логики положения, ибо двор не мог не искать спасения в сепаратном мире, и тем настойчивее, чем опаснее становилась обстановка. Либерализм, в лице своих вождей, как мы еще увидим, стремился шанс сепаратного мира резервировать для себя в связи с перспективой своего прихода к власти. Но именно поэтому он вел бешеную шовинистическую агитацию, обманывая народ и терроризируя двор. Камарилья не смела в столь остром вопросе показывать преждевременно свое подлинное лицо и вынуждена была даже подделываться под общий патриотический тон, нащупывая в то же время почву для сепаратного мира.

Генерал Курлов, бывший глава полиции, примыкавший к распутинской камарилье, отрицает, разумеется, в своих воспоминаниях немецкие связи и симпатии своих покровителей, но тут же прибавляет: «Нельзя обвинить Штюрмера за его мнение, что война с Германией была величайшим несчастьем для России и что она не имела за собой никаких серьезных политических оснований». Нельзя, однако, забывать, что имевший такое интересное «мнение» Штюрмер был главою правительства страны, ведшей войну с Германией. Последний царский министр внутренних дел Протопопов, накануне своего вступления в правительство, вел в Стокгольме переговоры с немецким дипломатом и докладывал о них царю. Сам Распутин, по словам того же Курлова, «считал войну с Германией огромным бедствием для России». Наконец, императрица писала царю 5 апреля 1916 года: «...они не смеют говорить, что у Него есть хоть что-нибудь общее с немцами, он добр и великодушен ко всем, как Христос, все равно, к какой бы религии человек ни принадлежал; таким должен быть истинный христианин».

Конечно, к этому истинному христианину, почти не выходившему из пьяного состояния, вполне могли, наряду с шулерами, ростовщиками и аристократическими своднями, примазываться и прямые шпионы. Такого рода «связи» не исключены. Но оппозиционные патриоты ставили вопрос шире и прямее: они прямо обвиняли царицу в измене. В своих значительно позднее написанных воспоминаниях генерал Деникин свидетельствует: «В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китчинера,

о поездке которого она якобы сообщила немцам, и т. д. Это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении ее к династии и к революции». Тот же Деникин рассказывает, что уже после переворота генерал Алексеев на прямой вопрос об измене императрицы ответил, «неопределенно и нехотя», что у царицы нашли при разборе бумаг карту с подробным обозначением войск всего фронта и что это на него, Алексеева, произвело удручающее впечатление... «Больше ни слова, — многозначительно добавляет Деникин, — переменял разговор». Была или не была у царицы таинственная карта, но незадачливые генералы явно не прочь были взвалить на нее долю ответственности за свои поражения. Обвинения двора в измене ползли по армии несомненно главным образом сверху вниз, из бездарных штабов.

Но если сама царица, которой царь во всем подчиняется, предает Вильгельму военные тайны и даже головы союзных полководцев, то что остается, кроме расправы над царской четой? А так как главою армии и антинемецкой партии считался великий князь Николай Николаевич, то он как бы по должности выдвигался на роль верховного покровителя дворцового переворота. Это и было причиной, в силу которой царь, по настоянию Распутина и царицы, сместил великого князя, взяв главное командование в свои руки. Но царица боялась даже свидания племянника с дядей при сдаче дел. «Душка, постарайся быть осторожным, — пишет она царю в Ставку, — и не дай Николаше поймать тебя на каких-нибудь обещаниях или на чем-нибудь другом — помни, что Григорий спас тебя от него и его злых людей... вспомни, во имя России, что они хотели сделать: выгнать тебя (это не сплетня, у Орлова уже все бумаги были готовы), а меня — в монастырь...»

Брат царя, Михаил, говорил Родзянко: «Вся семья сознает, насколько вредна Александра Федоровна. Брата и ее окружают только изменники. Все порядочные люди ушли. Но как быть в этом случае?» Вот именно: как быть в этом случае?

Великая княгиня Мария Павловна в присутствии своих сыновей настаивала на том, чтобы Родзянко взял на себя инициативу «устранения» царицы. Родзянко предложил считать разговор как бы не бывшим, иначе он, по долгу присяги, должен был бы доложить царю, что великая княгиня предлагает председателю Думы уничтожить императрицу. Так находчивый камергер свел вопрос об убийстве царицы к милой великосветской шутке.

Само министерство находилось моментами в острой оппозиции к царю. Еще в 1915 году, за полтора года до переворота, на заседаниях правительства открыто велись речи, которые и сейчас кажутся невероятными. Военный министр Поливанов: «Спасти положение может только примирительная к обществу политика. Теперешние шаткие плотины не способны предупредить катастрофу». Морской министр Григорович: «Не секрет, что и армия нам не доверяет и ждет перемен». Министр иностранных дел Сазонов: «Популярность царя и его авторитет в глазах народных масс значительно поколеблены». Министр внутренних дел князь Щербатов: «Мы все вместе непригодны для управления Россией при слагающейся обстановке... Нужна либо диктатура, либо примирительная политика». (Заседание 21 августа 1915 года.) Ни то ни другое уже не могло помочь; ни то ни другое уже не было осуществимо. Царь не решался на диктатуру, отклонял примирительную политику и не принимал отставки министров, считавших себя негодными. Ведший записи крупный чиновник делает к министерским речам краткий комментарий: придется, очевидно, висеть на фонаре.

При таком самочувствии немудрено, если даже в бюрократических кругах говорили о необходимости дворцового переворота как единственного средства предупредить надвигающуюся революцию. «Если бы я закрыл глаза, — вспоминает о таких беседах один из участников, — то я мог бы подумать, что нахожусь в обществе заядлых революционеров».

Жандармский полковник, обследовавший, по специальному заданию, армии на юге России, нарисовал в докладе мрачную картину: усилиями пропаганды, особенно насчет германофильства императрицы и царя, армия подготовлена к мысли о дворцовом перевороте.

«Разговоры в этом смысле открыто велись в офицерских собраниях и не встречали необходимого противодействия со стороны высшего командного состава». Протопопов свидетельствует, с своей стороны, что «значительное число лиц из высшего командного состава сочувствовало перевороту; отдельные лица были в сношениях и под влиянием главных деятелей так называемого прогрессивного блока».

Прославившийся впоследствии адмирал Колчак показывал, после разгрома его войск Красной Армией, перед советской следственной комиссией, что у него были связи со многими оппозиционными членами Думы, выступления которых он приветствовал, так как «относился к существующей перед революцией власти отрицательно». В планы дворцового переворота Колчак, однако, не был посвящен.

После убийства Распутина и последовавших в связи с этим высылки великих князей великосветское общество особенно громко заговорило о необходимости дворцового переворота. Князь Юсупов рассказывает, что к арестованному во дворце великому князю Дмитрию приходили офицеры нескольких полков и предлагали разные планы решительных действий, «на которые он, конечно, не мог согласиться». К заговору считалась причастной и союзная дипломатия, по крайней мере в лице британского посла. Этот последний, несомненно по инициативе русских либералов, сделал в январе 1917 года попытку повлиять на Николая, испросив предварительно санкцию своего правительства. Николай внимательно и вежливо выслушал посла, поблагодарил его и — заговорил о посторонних предметах. Протопопов докладывал Николаю о сношениях Бьюкенена с главнейшими деятелями прогрессивного блока и предлагал установить наблюдение за британским посольством. Николай не одобрил будто бы этого предложения, находя наблюдение за послом «не соответствующим международным традициям». Между тем Курлов, не обинуясь, сообщает, что «розыскные органы ежедневно отмечали сношения лидера кадетской партии Милюкова с английским посольством». Следовательно, международные традиции ничему не помешали. Но и нарушение их немногим помогло: дворцовый заговор так и не был раскрыт.

Существовал ли он на самом деле? Ничто этого не доказывает. Он был слишком широк, этот «заговор», захватывал слишком многочисленные и разнообразные круги, чтобы быть заговором. Он висел в воздухе, как настроение верхов петербургского общества, как смутная идея спасения или как лозунг отчаяния. Но он не сгустился до степени практического плана.

Высшее дворянство в XVIII столетии не раз вносило практические поправки в порядок престолонаследия, заточая или удушая неудобных императоров: в последний раз эта операция была проделана над Павлом в 1801 году. Нельзя, следовательно, сказать, чтобы дворцовый переворот противоречил традициям русской монархии: наоборот, он входил в них непременным элементом. Но аристократия давно уж не чувствовала себя твердо в седле. Честь удушения царя и царицы она уступала либеральной буржуазии. Но вожди последней проявляли немногим больше решимости.

После революции не раз делались ссылки на либеральных капиталистов, Гучкова и Терещенко, и на близкого к ним генерала Крымова как на ядро заговорщиков. Бывший доброволец в армии буров против Англии, дуэлянт Гучков, либерал со шпорами, вообще должен был казаться «общественному мнению» наиболее подходящей для заговора фигурой. Не многословный же профессор Милюков, в самом деле! Гучков несомненно возвращался не раз мыслью к хорошему и короткому удару, в котором один гвардейский полк заменяет и предупреждает революцию. Еще Витте в своих «Воспоминаниях» доносил на Гучкова, которого ненавидел, как на поклонника младотурецких методов расправы над неподходящим султаном. Но Гучков, не успевший и в молодые годы проявить свою младотурецкую отвагу, успел сильно постареть. А главное, сподвижник Столыпина не мог не видеть разницы русских условий и старотурецких, не мог не спрашивать себя: не окажется ли дворцо-

вый переворот, вместо средства предупредить революцию, тем последним толчком, который обрушит лавину, и не станет ли таким образом лекарство губительнее самой болезни?

В литературе, посвященной Февральской революции, о подготовке дворцового переворота говорится как о твердо установленном факте. Милюков выражается так: «В феврале уже намечалось его осуществление». Деникин переносит осуществление на март. Оба упоминают о «плане» остановить в пути царский поезд, потребовать отречения и в случае отказа, который предполагался неизбежным, произвести «физическое устранение» царя. Милюков добавляет, что, в предвидении возможного переворота, главари прогрессивного блока, не участвовавшие в заговоре и не бывшие «точно» осведомлены о приготовлениях к нему, обсуждали в тесном кругу, как получше использовать переворот в случае удачи. Некоторые марксистские исследования последних годов также принимают версию о практической подготовке переворота на веру. На этом примере, кстати, можно проследить, как легко и прочно легенды завоевывают себе место в исторической науке.

Важнейшим доказательством заговора выставляется нередко красочный рассказ Родзянко, свидетельствующий как раз о том, что заговора не было. В январе 1917 года приезжал в столицу с фронта генерал Крымов и жаловался перед членами Думы на то, что дальше так продолжаться не может: «Если вы решитесь на эту крайнюю меру (смену царя), то мы вас поддержим». *Если вы решитесь!..* Октябрист Шидловский с озлоблением воскликнул: «Щадить и жалеть его нечего, когда он губит Россию». В шумном споре приведены были действительные или мнимые слова Брусилова: «Если придется выбирать между царем и Россией – я пойду за Россией». Если придется! Молодой миллионер Терещенко выступал, как непреклонный цареубийца. Кадет Шингарев сказал: «Генерал прав: переворот необходим... *Но кто на него решится?*» В том-то и дело: кто на него решится? Такова суть показаний Родзянко, который сам выступал против переворота. В течение немногих дальнейших недель план, по-видимому, нисколько не продвинулся вперед. Об остановке царского поезда разговаривали, но совершенно не видно, кто эту операцию должен был провести.

Русский либерализм, когда был моложе, поддерживал деньгами и симпатиями революционеров-террористов в надежде, что они бомбами загонят монархию в его объятия. Рисковать собственной головой никто из этих почтенных господ не привык. Но главную роль играл все же не столько личный, сколько классовый страх: сейчас плохо, рассуждали они, но как бы не стало хуже. Во всяком случае, если бы Гучков – Терещенко – Крымов всерьез шли к перевороту, т. е. практически готовили его, мобилизуя силы и средства, это стало бы с полной определенностью и точностью известно после революции, ибо участники, особенно молодые исполнители, которых понадобилось бы немало, не имели бы никаких оснований умалчивать о «почти» совершенном подвиге: после февраля это только обеспечило бы их карьеру. Однако таких разоблачений не было. Совершенно очевидно, что и у Гучкова с Крымовым дело не пошло дальше патриотических вздохов за вином и сигарой. Легкомысленные фронтеры аристократии, как и тяжеловесные оппозиционеры плутократии, так и не нашли в себе духу внести поправку действием в пути неблагосклонного промысла.

В мае 1917 года один из самых красноречивых и пустых либералов, Маклаков, воскликнет на частном совещании Думы, которую революция отставит вместе с монархией: «Если потомки проклянут эту революцию, то они проклянут и нас, не сумевших вовремя переворотом сверху предупредить ее!» Еще позже, уже в эмиграции, Керенский, вслед за Маклаковым, будет сокрушаться: «Да, цензовая Россия опоздала своевременным *coup d'état* (фр. – государственным переворотом. – *Ред.*) – сверху (о котором так много говорили и к которому так много (?) готовились), – опоздала предотвратить стихийный взрыв государства».

Эти два восклицания завершают картину, показывая, что и после того как революция развязала все свои неукротимые силы, просвещенные пошляки продолжали думать, что ее могла бы предотвратить «своевременная» перемена династической головки!

* * *

На «большой» дворцовый переворот не хватило решимости. Но из него вырос план малого переворота. Либеральные заговорщики не посмели убрать главного актера монархии; великие князья решили убрать ее суфлера: в убийстве Распутина они видели последнее средство спасения династии.

Князь Юсупов, женатый на одной из Романовых, привлек к делу великого князя Дмитрия Павловича и монархического депутата Пуришкевича. Пытались втянуть еще либерала Маклакова, очевидно, чтобы придать убийству «общенациональный» характер. Знаменитый адвокат благоразумно уклонился, снабдив, однако, заговорщиков ядом. Очень стильная деталь! Заговорщики не без основания считали, что романовский автомобиль облегчит увоз тела после убийства: великокняжеский герб нашел себе применение. Дальнейшее разыгрывалось в плане кинематографической постановки, рассчитанной на дурные вкусы. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин, завлеченный на пирушку, был убит в юсуповском особняке.

Правящие классы, за вычетом тесной камарильи и мистических поклонниц, восприняли убийство Распутина, как спасительный акт. Подвергнутого домашнему аресту великого князя, руки которого оказались, по выражению царя, запачканы мужицкой кровью, — хоть и Христос, а все же мужик! — посетили с сочувствием все члены императорского дома, находившиеся в Петербурге. Родная сестра царицы, вдова великого князя Сергея, сообщала по телеграфу, что молится за убийц и благословляет их патриотический поступок. Газеты, пока не последовало воспрещения упоминать о Распутине, печатали восторженные статьи. В театрах пытались манифестировать в честь убийц. Прохожие поздравляли друг друга на улицах. «В частных домах, в офицерских собраниях, в ресторанах, — вспоминает князь Юсупов, — пили за наше здоровье; на заводах рабочие кричали нам *ура*». Можно вполне допустить, что рабочие не горевали, узнав об убийстве Распутина. Но их крики «ура» не имели ничего общего с надеждами на возрождение династии. Распутинская камарилья выжидалась притаилась. Распутина хоронили, скрываясь от всего мира: царь, царица, царские дочери и Вырубова; вокруг трупа святого Друга, бывшего конокрада, убитого великими князьями, царская семья должна была самой себе казаться отверженной. Однако и погребенный Распутин не нашел покоя. Когда Николай и Александра Романовы считались уже арестованными, солдаты Царского Села разрыли могилу и вскрыли гроб. У головы убитого лежала икона с надписью: Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Аня. Временное правительство прислало уполномоченного для доставки за чем-то трупа в Петроград. Толпа воспротивилась, и уполномоченному пришлось сжечь труп тут же.

После убийства Друга монархия прожила всего десять недель. Но этот короткий срок принадлежал еще ей. Распутина не было, но царить продолжала его тень. Наперекор всем ожиданиям заговорщиков, царская чета стала после убийства с особенной силой выдвигать наиболее презренных членов распутинской клики. Для отмищения за Распутина министром юстиции был назначен заведомый негодяй. Несколько великих князей были высланы из столицы. Передавали, что Протопопов занимается спиритизмом, вызывая дух Распутина. Петля безысходности затянулась еще туже.

Убийство Распутина сыграло крупную роль, но совсем не ту, на какую рассчитывали участники и вдохновители. Оно не ослабило кризис, а обострило его. Об убийстве говорили везде: во дворцах, в штабах, на заводах и в крестьянских избах. Вывод навязывался сам собою: даже великим князьям нет других путей против прокаженной камарильи, кроме яда

и револьвера. Поэт Блок писал об убийстве Распутина: «...пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии».

* * *

Еще Робеспьер напоминал Законодательному собранию, что оппозиция дворянства, ослабив монархию, раскачала буржуазию, а за нею и народные массы. Робеспьер предупреждал одновременно, что в остальной Европе революция не сможет развернуться так быстро, как во Франции, ибо привилегированные классы других стран научены опытом французского дворянства и не возьмут на себя почина революции. Давая этот замечательный анализ, Робеспьер ошибался, однако, в своем предположении, что своей оппозиционной опрометчивостью французское дворянство дало раз навсегда урок дворянству других стран. Россия снова показала, и в 1905 году и, особенно, в 1917 году, что революция, направленная против самодержавного и полукрепостнического режима, следовательно, против дворянства, встречает на первых своих шагах бессистемное, противоречивое, но тем не менее весьма действительное содействие не только со стороны рядового дворянства, но и со стороны самых привилегированных его верхов, включая сюда даже и членов династии. Это замечательное историческое явление может показаться противоречащим классовой теории общества, но на самом деле оно противоречит только вульгарному ее пониманию.

Революция возникает, когда все антагонизмы общества доходят до высшего напряжения. Но это-то и делает положение несносным даже и для классов старого общества, т. е. тех, которые обречены на слом. Не придавая биологическим аналогиям большего веса, чем они заслуживают, уместно все же напомнить, что акт родов становится в известный момент одинаково неотвратимым как для материнского организма, так и для плода. Оппозиция привилегированных классов выражает собою несовместимость их традиционного общественного положения с потребностями дальнейшего существования общества. У правящей бюрократии все начинает валиться из рук. Аристократия, чувствуя себя в фокусе общей вражды, сваливает вину на бюрократию. Эта последняя винит аристократию, а затем, вместе или порознь, они направляют свое недовольство против монархического увенчания своей власти.

Призванный на время в министры со службы в сословных дворянских учреждениях князь Щербатов говорил: «И Самарин, и я – бывшие губернские предводители дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми, и мы сами себя таковыми не считаем. Но мы оба никак не можем понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его правительство находились в радикальном разноречии со всею благоразумною (о революционных интригах говорить не стоит) общественностью – с дворянами, купцами, городами, земствами и даже армиею. Если с нашим мнением не желают наверху считаться, то наш долг уйти». Дворянство видит причины всех бед в том, что монархия ослепла или потеряла разум. Привилегированное сословие не верит тому, что вообще уже не может быть такой политики, которая примирила бы старое общество с новым; другими словами, дворянство не мирится со своей обреченностью и превращает свое предсмертное томление в оппозицию против самой священной силы старого режима, т. е. монархии. Острота и безответственность аристократической оппозиции объясняется исторической избалованностью верхов дворянства и невыносимостью для него его собственных страхов перед революцией. Бессистемность и противоречивость дворянской фронды объясняется тем, что это оппозиция класса, у которого нет выхода. Но, как лампа, прежде чем потухнуть, вспыхивает ярким букетом, хоть и с копотью, – так и дворянство, прежде чем угаснуть, переживает оппозиционную вспышку, которая оказывает крупнейшую услугу его смертельным врагам. Такова диалектика этого

процесса, которая не только мирится с классовой теорией общества, но ею только и объясняется.

Агония монархии

Династия свалилась от сотрясения, как гнилой плод, прежде еще, чем революция успела подойти к разрешению ближайших своих задач. Образ старого правящего класса остался бы не завершен, если бы мы не попытались показать, как монархия встретила час своего падения.

Царь находился в Ставке, в Могилеве, куда он уехал не потому, что был там нужен, а укрываясь от петроградских беспокойств. Придворный летописец генерал Дубенский, находившийся при царе в Ставке, заносил в свой дневник: «Тихая жизнь началась здесь. Все будет по-старому. От него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случайные внешние причины, кои заставят что-либо измениться». 24 февраля царица писала Николаю в Ставку, как всегда, по-английски: «Я надеюсь, что думского Кедринского (речь идет о Керенском) повесят за его ужасные речи – это необходимо (закон военного времени), и это будет примером. Все жаждут и умоляют, чтобы ты показал свою твердость», 25-го в Ставке была получена телеграмма от военного министра, что идут в столице забастовки, среди рабочих начинаются беспорядки, но меры приняты, ничего серьезного нет. Словом: не в первый и не в последний раз!

Царица, которая всегда учила царя не уступать, пыталась и теперь держаться твердо, 26-го она, с явным расчетом подкрепить ненадежное мужество Николая, телеграфирует ему, что в «городе – спокойно». Но в вечерней телеграмме вынуждена уже признать, что «совсем нехорошо в городе». В письме она пишет: «Рабочим прямо надо сказать, чтобы они не устраивали стачек, а если будут, то посылать их в наказание на фронт. Совсем не надо стрельбы, нужен только порядок, и не пускать их переходить мосты». Да, нужно немного: *только* порядок! А главное – не пускать рабочих в центр, пусть задыхаются в яростном бессилии своих окраин.

Утром 27-го двинут с фронта на столицу генерал Иванов с георгиевским батальоном и с диктаторскими полномочиями, о которых он, однако, должен объявить лишь по занятии Царского Села. «Трудно себе представить более неподходящее лицо, – будет вспоминать генерал Деникин, сам упражнявшийся впоследствии в военной диктатуре, – дряхлый старик, плохо разбиравшийся в политической обстановке, не обладавший уже ни силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью». Выбор пал на Иванова по воспоминаниям о первой революции: одиннадцать лет перед тем он усмирлял Кронштадт. Но эти годы прошли не бесследно: усмирители одряхлели, усмиряемые возмужали. Северному и Западному фронтам приказано было подготовить войска к отправке на Петроград. Очевидно, считалось, что времени впереди достаточно. Сам Иванов полагал, что все закончится скоро и благополучно, и даже не забыл поручить адъютанту купить в Могилеве провизии для знакомых в Петрограде.

27 февраля, утром, Родзянко послал царю новую телеграмму, которая кончалась словами: «Настал последний час, когда решается судьба родины и династии». Царь сказал министру двора Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». Но нет, это не был вздор! И отвечать придется.

Около полудня 27-го в Ставке получено донесение Хабалова о восстании Павловского, Волынского, Литовского и Преображенского полков и о необходимости присылки надежных частей с фронта. Через час от военного министра приходит весьма успокоительная телеграмма: «Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются верными своему долгу ротами и батальонами... Твердо уверен в скором наступлении спокойствия...» Однако после 7 часов вечера тот же Беляев докладывает уже, что «военный мятеж немногими оставшимися верными долгу чести частями погасить не

удается», и просит спешного прибытия действительно надежных частей, притом в достаточном количестве, «для одновременных действий в различных частях города».

Совет министров в этот день счел благовременным собственными силами вытеснить из своей среды предполагаемую причину всех бед: полусумасшедшего министра внутренних дел Протопопова. Одновременно генерал Хабалов пустил в ход заготовленный тайно от правительства акт, объявлявший, по высочайшему повелению, Петроград на осадном положении. Таким образом, и здесь была попытка комбинации горячего с холодным, хотя вряд ли уже преднамеренная, и во всяком случае безнадежная. Даже расклеить листки с объявлением осадного положения по городу не удалось: у градоначальника Балка не оказалось ни клея, ни кистей. У этих властей вообще не клеилось, ибо они уже принадлежали к царству теней.

Главной тенью последнего царского министерства состоял семидесятилетний князь Голицын, заведовавший ранее какими-то благотворительными учреждениями царицы и ею выдвинутый на пост главы правительства в период войны и революции. Когда друзья спрашивали этого «добродушного русского барина, старого рамолика», по определению либерального барона Нольде, зачем он принял такой хлопотливый пост, Голицын отвечал:

«Чтобы было одним приятным воспоминанием более». Этой цели он во всяком случае не достиг. О самочувствии последнего царского правительства в те часы свидетельствует следующий рассказ Родзянко. При первом известии о движении масс к Мариинскому дворцу, где происходили заседания министерства, были немедленно же потушены в здании все огни. Правители хотели одного: чтобы революция их не заметила. Слух оказался, однако, ложным, нападения не произошло, и когда снова зажгли свет, то кое-кто из членов царского правительства, «к своему удивлению», оказался под столом. Какие он накоплял там воспоминания, не установлено.

Но и самочувствие самого Родзянко было, видимо, не на высоте. В долгих, но тщетных телефонных поисках правительства председатель Думы снова пробует дозвониться до князя Голицына. Тот отвечает ему: «Прошу более ни с чем ко мне не обращаться, я подал в отставку». Услышав эту весть, Родзянко, по рассказу его преданного секретаря, грузно опустился на кресло и закрыл лицо обеими руками... «Боже мой, какой ужас!.. – Без власти... Анархия... Кровь...» – и тихо заплакал. При угасании старческого призрака царской власти Родзянко почувствовал себя несчастным, заброшенным, осиротелым. Как далек он был в этот час от мысли, что завтра ему придется «возглавить» революцию!

Телефонный ответ Голицына объясняется тем, что 27-го вечером Совет министров окончательно признал себя не способным справиться с создавшимся положением и предложил царю во главе правительства лицо, пользующееся общим доверием. Царь ответил Голицыну: «Относительно перемен в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. Николай». Каких же еще обстоятельств он дожидался? Одновременно царь требовал принятия «самых решительных мер» для подавления мятежа. Это было легче сказать, чем сделать.

На другой день, 28-го, падает, наконец, духом и неукротимая царица. «Уступки необходимы, – телеграфирует она Николаю. – Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Аликс». Понадобилось восстание всей гвардии, всего гарнизона, чтоб заставить гессенскую ревнительницу самодержавия согласиться, что «уступки необходимы». Теперь и царь начинает догадываться, что «этот толстяк Родзянко» сообщал ему не вздор. Николай решает ехать к семье. Возможно, что его в спину слегка подталкивают генералы Ставки, которым не по себе.

Царский поезд ехал сперва без происшествий, навстречу выходили, как всегда, урядники и губернаторы. Вдали от революционного вихря, в привычном вагоне, среди привычной свиты, царь, видимо, опять утратил ощущение придвинувшейся вплотную развязки. В 3 часа дня 28-го, когда его судьба уже решена ходом событий, он посылает царице из Вязьмы

телеграмму: «Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники». Вместо уступок, на которых настаивает даже царица, нежно любящий царь посылает с фронта войска. Но несмотря на «великолепную погоду», царю уже через несколько часов приходится столкнуться с революционной бурей лицом к лицу. Поезд дошел до станции Вишера, дальше железнодорожники его не пропустили: «испорчен мост». Вероятнее всего, этот предлог выдумала сама свита, чтобы скрасить положение. Николай пытался проехать или его пытались провезти через Бологое, по Николаевской железной дороге; но поезд не пустили и туда. Это было гораздо нагляднее, чем все петроградские телеграммы. Царь оторвался от Ставки и не находил дороги в свою столицу. Простыми железнодорожными «пешками» революция объявила шах королю!

Придворный историограф Дубенский, сопровождавший царя в поезде, записывает в дневнике: «Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь... Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен; она будет введена наверное... Все говорят, что надо только сторговаться с ними, с членами Временного Правительства». Перед опущенным семафором, за которым сгустилась смертельная опасность, граф Фредерикс, князь Долгорукий, герцог Лейхтенбергский, все, все высокие господа теперь за конституцию. Они и не думают больше о борьбе. Надо только поторговаться, т. е. попытаться снова обмануть, как в 1905 году.

Пока поезд блуждал, не находя пути, царица посылала царю телеграмму за телеграммой, призывая его вернуться как можно скорее. Но телеграммы возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашом: «Место пребывания адресата неизвестно». Телеграфные чиновники не могли сыскать русского царя.

Полки с музыкой и знаменами шествовали к Таврическому дворцу. Гвардейский экипаж выступал под командою великого князя Кирилла Владимировича, у которого, как свидетельствует графиня Клейнмихель, сразу появилась революционная осанка. Караулы ушли. Приближенные покидали дворец. «Спасались все, кто мог», — вспоминает Вырубова. По дворцу бродили кучки революционных солдат и с жадным любопытством все разглядывали. Прежде еще, чем на верхах решили, как быть, низы превращали дворец царизма в музей.

Царь, место пребывания которого неизвестно, поворачивает на Псков, в штаб Северного фронта, которым командует старый генерал Рузский. В царской свите одно предложение сменяется другим. Царь оттягивает. Он все еще считает днями и неделями там, где революция уже ведет счет минутами.

Поэт Блок такими чертами характеризовал царя в последние месяцы монархии: «Упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задерганный и осторожный на словах, был уже сам себе не хозяин. Он перестал понимать положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого сам поставил у власти». Насколько же усилиться должны были черты безволия и задерганности, осторожности и недоверия в последние дни февраля и первые марта!

Николай собрался, наконец, послать, и все-таки, видимо, не послал, ненавистному Родзянко телеграмму о том, что, ради спасения родины, поручает ему составить новое министерство, но назначение министров иностранных дел, военного и морского оставляет за собой. Царь хочет еще поторговаться с «ними»: ведь к Петрограду продвигается «много войск».

Генерал Иванов действительно прибыл без помех в Царское Село: очевидно, железнодорожники не решались вступать в столкновение с георгиевским батальоном. Генерал признавался позже, что по пути ему пришлось применять раза 3–4 «отеческое воздействие» против дерзивших ему нижних чинов: он ставил их на колени. Немедленно по приезде «диктатора» в Царское Село местные власти доложили ему, что столкновение георгиевского бата-

льона с войсками угрожало бы опасностью царской семье. Попросту боялись за себя и советовали усмирителя, не разгружаясь, отправиться обратно.

Генерал Иванов задал другому «диктатору», Хабалову, 10 вопросов, на которые получил точные ответы. Воспроизводим их полностью, они этого заслуживают:

Вопросы Иванова

1. Какие части в порядке и какие безобразят?
2. Какие вокзалы охраняются?
3. В каких частях города поддерживается порядок?
4. Какие власти правят этими частями города?
5. Все ли министерства правильно функционируют?
6. Какие полицейские власти находятся в данное время в вашем распоряжении?
7. Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в вашем распоряжении?
8. Какое количество продовольствия в вашем распоряжении?
9. Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бунтующих?
10. Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении?

Ответы Хабалова

1. В моем распоряжении, в здании главного адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен, две батареи; прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, обезоруживая офицеров.

2. Все вокзалы во власти революционеров и строго ими охраняются.

3. Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

4. Ответить не могу.

5. Министры арестованы революционерами.

6. Не находятся вовсе.

7. Не имею.

8. Продовольствия в моем распоряжении нет. В городе к 25 февраля было 5 600 000 пудов запаса муки.

9. Все артиллерийские заведения во власти революционеров.

10. В моем распоряжении лично начальник штаба округа; с прочими окружными управлениями связи не имею.

Получив столь недвусмысленное освещение обстановки, генерал Иванов «согласился» вернуть свой неразгруженный эшелон на станцию Дно. «Таким образом, – заключает один из главных персонажей ставки, генерал Лукомский, – из командировки генерала Иванова с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не получилось».

Впрочем, скандал имел тихий характер, утонув незаметно в волнах событий. Диктатор отослал, надо думать, знакомым провизию в Петроград и имел долгую беседу с царицей: она ссылаясь на свою самоотверженную работу в лазаретах и жаловалась на неблагодарность армии и народа.

В Псков через Могилев идут тем временем вести одна чернее другой. Остававшийся в Петрограде собственный его величества конвой, где каждый солдат был известен по имени и обласкан царской семьей, явился в Государственную думу, прося разрешения арестовать тех офицеров, которые отказывались принимать участие в восстании. Вице-адмирал Курош доносит, что принять меры к усмирению восстания в Кронштадте не находит возможным, так как не может ручаться ни за одну часть. Адмирал Непенин телеграфирует, что Балтий-

ский флот признал Временный Комитет Государственной думы. Московский главнокомандующий Мрозовский сообщает: «Большинство войск с артиллерией передано революционерам, во власти которых поэтому находится весь город, градоначальник с помощником выбыли из градоначальства». Выбыли означало бежали.

Царю все это было сообщено вечером 1 марта. До глубокой ночи шли разговоры и уговоры пойти на ответственное министерство. Царь наконец дал согласие к 2 часам ночи, и его окружение вздохнуло с облегчением. Так как считалось само собою разумеющимся, что этим разрешается проблема революции, то одновременно приказано было вернуть на фронт те части, которые были двинуты на Петроград для подавления восстания. Рузский поспешил на рассвете сообщить благую весть Родзянко. Но часы царя очень отставали. Родзянко, на которого в Таврическом дворце уже навалились демократы, социалисты, солдаты, рабочие депутаты, отвечал Рузскому: «То, что предполагается вами, недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром... Везде войска становятся на сторону Думы и народа с требованием отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича». Правда, войска и не думали требовать ни сына, ни Михаила Александровича. Родзянко попросту приписал войскам и народу тот лозунг, на котором Дума все еще надеялась удержать революцию. Но так или иначе царская уступка пришла поздно: «Анархия достигает таких размеров, что я (Родзянко) вынужден был сегодня ночью назначить временное правительство. К сожалению, манифест запоздал»... Эти величественные слова свидетельствуют, что председатель Думы успел осушить свои слезы по Голицыну. Царь читал беседу Родзянко с Рузским и колебался, перечитывал и выжидал. Но теперь уже военачальники забили тревогу: дело касалось немножко и их!

Генерал Алексеев произвел в ночные часы своего рода плебисцит среди главнокомандующих фронтами. Хорошо, что современные революции совершаются при участии телеграфа, так что самые первые побуждения и отклики власть имущих закрепляются для истории на бумажной ленте. Переговоры царских фельдмаршалов в ночь с 1 на 2 марта представляют собою несравненный человеческий документ. Отречься царю или не отречься? Главнокомандующий Западного фронта, генерал Эверт, соглашался дать свое заключение лишь после того, как выскажутся генералы Рузский и Брусилов. Главнокомандующий Румынского фронта, генерал Сахаров, требовал, чтобы ему были сообщены предварительно заключения всех остальных главнокомандующих. После долгих проволочек этот доблестный воин заявил, что его горячая любовь к монарху не позволяет его душе мириться с принятием «гносного предложения»; тем не менее, «рыдая», он рекомендовал царю отречься, дабы избежать «еще гнуснейших притязаний». Генерал-адъютант Эверт вразумительно объяснял необходимость капитуляции: «Принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем положении дел в столицах не проникали в армию, дабы оберечь ее от несомненных волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет никаких». Великий князь Николай Николаевич с кавказского фронта коленопреклонно молил царя принять «сверхмеру» и отречься от престола; такое же моление шло от генералов Алексеева, Брусилова и адмирала Непенина. От себя Рузский на словах ходатайствовал о том же. Генералы почтительно приставили семь револьверных дул к вискам обожаемого монарха. Боясь упустить момент для примирения с новой властью и не менее того боясь собственных войск, полководцы, привыкшие к сдаче позиций, дали царю и Верховному главнокомандующему единодушный совет: без боя сойти со сцены. Это был уже не далекий Петроград, против которого, как казалось, можно было послать войска, но фронт, у которого приходилось эти войска заимствовать.

Выслушав столь внушительно обставленный доклад, царь решил отречься от престола, которым он уже не владел. Заготовлена была приличная случаю телеграмма Родзянко: «Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной

матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего Великого Князя Михаила Александровича. Николай». Телеграмма, однако, и на этот раз не была отправлена, так как пришло сообщение о выезде из столицы в Псков депутатов Гучкова и Шульгина. Это давало новый повод отсрочить решение. Царь приказал вернуть ему телеграмму. Он явно опасался продешевить и все еще ждал утешительных вестей, вернее сказать, надеялся на чудо. Прибывших депутатов Николай принял в 12 часов ночи со 2 на 3 марта. Чуда не совершилось, и уклоняться больше нельзя было. Царь неожиданно заявил, что не может расстаться с сыном, – какие смутные надежды бродили при этом в его голове? – и подписал манифест об отречении в пользу брата. Одновременно подписаны были указы Сенату о назначении князя Львова председателем Совета министров и Николая Николаевича – Верховным главнокомандующим. Фамильные подозрения царицы оказались как бы оправданными: ненавистный «Николаша» вернулся к власти вместе с заговорщиками. Гучков считал, по-видимому, всерьез, что революция примирится с августейшим военачальником. Последний тоже принял назначение за чистую монету. Он даже пытался в течение нескольких дней отдавать какие-то распоряжения и призывать к выполнению патриотического долга. Однако революция безболезненно извергла его.

Чтобы сохранить видимость свободного решения, Манифест об отречении был помещен 3 часами пополудни на том основании, что первоначальное решение царя об отречении состоялось в этом часу. Но ведь дневное «решение», передававшее престол сыну, а не брату, было фактически взято обратно в расчете на более благоприятный оборот колеса. Об этом, однако, вслух никто не напоминал. Царь делал последнюю попытку спасти лицо перед ненавистными депутатами, которые, с своей стороны, допустили подделку исторического акта, т. е. обман народа. Монархия сходила со сцены с соблюдением своего стиля. Но и ее преемники остались верны себе. Они, вероятно, даже считали свое попустительство великодушием победителя к побежденному.

Отступая несколько от безличного стиля своего дневника, Николай записывает 2 марта: «Утром пришел Рузский и прочел мне длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что министерство из членов Государственной думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ним борется эсдековская партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку Алексееву и всем главнокомандующим. В 12 с половиной часов пришли ответы. Для спасения России и удержания армии на фронте я решился на этот шаг. Я согласился, и из ставки прислали проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал подписанный переделанный манифест. В час ночи уезжал из Пскова с тяжелым чувством; кругом измена, трусость, обман».

Горечь Николая, надо признать, не лишена была оснований. Еще только 28 февраля генерал Алексеев телеграфировал всем главнокомандующим фронтами: «На всех нас лег священный долг перед государем и родиной сохранить верность долгу и присяге в войсках действующих армий». А два дня спустя Алексеев призвал тех же главнокомандующих нарушить верность «долгу и присяге». Среди командного состава не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересечь на корабль революции в твердом расчете найти там удобные каюты. Генералы и адмиралы снимали царские вензеля и надевали красные банты. Сообщали впоследствии только об одном праведнике, каком-то командире корпуса, который умер от разрыва сердца во время новой присяги. Но не доказано, что сердце разорвалось от оскорбленного монархизма, а не от иных причин. Штатские сановники и по положению не обязаны были проявлять больше мужества, чем военные. Каждый спасался, как мог.

Но часы монархии решительно не совпадали с часами революции. 3 марта на рассвете Рузский был снова вызван к прямому проводу из столицы. Родзянко и князь Львов требовали задержать царский манифест, который опять оказался запоздавшим. С воцарением Алексея, сообщали уклончиво новые властители, помирились бы, может быть, — кто? — но воцарение Михаила абсолютно неприемлемо. Рузский не без ядовитости выразил сожаление по поводу того, что приезжавшие накануне депутаты Думы не были достаточно осведомлены о цели и задаче своей поездки. Но и у депутатов нашлось оправдание. «Вспыхнул неожиданно для всех такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел», — объяснил Рузскому камергер, как если бы он всю жизнь только и делал, что наблюдал солдатские бунты. «Провозглашение императором Михаила подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить». Как их всех вертит, и гнет, и треплет, и корчит!

Генералитет молча проглатывает и это новое «гнусное притязание» революции. Только Алексеев слегка отводит душу в телеграфном оповещении главнокомандующих: «На председателя Думы левые партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление, и в сообщениях Родзянко нет откровенности и искренности». Только искренности не хватало генералам в эти часы!

Но тут царь еще раз передумал. Прибыв из Пскова в Могилев, он вручил своему бывшему начальнику штаба Алексееву для пересылки в Петроград листок бумаги со своим согласием на передачу престола сыну. Очевидно, эта комбинация показалась ему в конце концов более обещающей. Алексеев, по рассказу Деникина, унес телеграмму и... не послал. Он считал, что достаточно и тех двух манифестов, которые были уже объявлены армии и стране. Разнобой получался оттого, что не только царь и его советники, но и думские либералы размышляли медленнее, чем революция.

Перед окончательным отъездом из Могилева, 8 марта, царь, уже формально арестованный, писал обращение к войскам, заканчивавшееся словами: «Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник отечеству, его предатель». Это была кем-то подсказанная попытка выбить из рук либерализма обвинение в германофильстве. Попытка осталась без последствий: обращение уже не посмели опубликовать.

Так закончилось царствование, которое было непрерывной цепью неудач, несчастий, бедствий и злодеяний, начиная с катастрофы на Ходынке во время коронации, через расстрелы стачечников и бунтующих крестьян, через русско-японскую войну, через страшный разгром революции 1905 года, через бесчисленные казни, карательные экспедиции и национальные погромы, и кончая безумным и подлым участием России в безумной и подлой мировой войне.

По прибытии в Царское Село, где он вместе с семьей подвергся заключению во дворце, царь, по словам Вырубовой, тихо проговорил: «Нет правосудия *среди* людей». Между тем именно эти слова непреложно свидетельствовали, что историческое правосудие, хоть и позднее, но существует.

* * *

Сходство последней четы Романовых с французской королевской четой эпохи Великой Революции бросается в глаза. Оно уже отмечалось в литературе, но бегло и без выводов. Между тем оно вовсе не случайно, как представляется на первый взгляд, и дает ценный материал для заключений.

Отделенные друг от друга пятью четвертями столетия царь и король представляются в известные моменты двумя актерами, выполняющими одну и ту же роль. Пассивное, выжидательное, но мстительное вероломство составляло отличительную черту обоих, с той разницей, что у Людовика оно было прикрыто сомнительным добродушием, у Николая — обхо-

дительностью. Они оба производили впечатление людей, которые тяготятся своим ремеслом и в то же время не согласны уступить хоть частицу своих прав, из которых не умеют сделать никакого употребления. Дневники обоих, родственные даже по стилю или по его отсутствию, одинаково обнаруживают гнетущую душевную пустоту.

Австриячка и гессенская немка образуют, с своей стороны, явную симметрию. Королевы выше своих королев не только физическим ростом, но и моральным. Мария Антуанетта менее набожна, чем Александра Федоровна, и, в отличие от последней, горячо предана удовольствиям. Но обе одинаково презирали народ, не выносили мысли об уступках, одинаково не доверяли мужеству своих мужей, глядя на них сверху вниз, Антуанетта – с оттенком презрения, Александра – с жалостью.

Когда авторы мемуаров, приближавшиеся в свое время к петербургскому двору, начинают уверять нас, что Николай II, будь он частным лицом, оставил бы по себе добрую память, они просто воспроизводят давний стереотип благожелательных отзывов о Людовике XVI, немногим обогащая нас как в отношении истории, так и – человеческой природы.

Мы слышали уже, как возмущался князь Львов, когда в разгар трагических событий первой революции он, вместо удрученного царя, увидел перед собою *«веселого разбитного малого в малиновой рубаше»*. Не зная того, князь только повторял отзыв Морриса, писавшего в 1790 году о Людовике в Вашингтон: *«Чего можно ждать от человека, который, будучи в его положении, хорошо ест, пьет, спит и смеется; от этого доброго малого, который веселее, чем то бы то ни было?»*

Когда Александра Федоровна, за три месяца до падения монархии, предрекает: *«Все поворачивается к лучшему, – сны нашего Друга так много значат!»*, то она лишь повторяет Марию Антуанетту, которая за месяц до низвержения королевской власти писала: *«Я чувствую бодрость духа, и что-то говорит мне, что скоро мы будем счастливы и спасены»*. Утопая, обе видят радужные сны.

Некоторые элементы сходства имеют, разумеется, случайный характер и представляют лишь интерес исторического анекдота. Неизмеримо важнее те черты, которые были привиты или прямо навязаны властной силой условий и которые бросают яркий свет на взаимоотношение между личностью и объективными факторами истории.

«Он не умел хотеть: вот главная черта его характера», – говорит реакционный французский историк о Людовике. Эти слова кажутся написанными о Николае. Оба не умели хотеть. Зато оба умели не хотеть. Но чего, собственно, могли «хотеть» последние представители безнадежно проигранного исторического дела? *«Обычно он слушал, улыбался и редко на что-либо решался. Первым его словом обычно было нет»*. О ком это? Опять-таки о Капете. Но в таком случае образ действий Николая был сплошным плагиатом. Оба идут к пропасти *«с короной, надвинутой на глаза»*. Но разве легче идти к пропасти, которой все равно нельзя избежать, с открытыми глазами? Что изменилось бы, в самом деле, если бы они сдвинули корону на затылок?

Профессиональным психологам следовало бы порекомендовать составить хрестоматию симметричных высказываний Николая и Людовика, Александры и Антуанетты и их приближенных о них. Недостатка в материале не было бы, и в результате получилось бы в высшей степени поучительное историческое свидетельство в пользу материалистической психологии: однородные (конечно, далеко не тождественные) раздражения при однородных условиях вызывают однородные рефлексy. Чем могущественнее раздражитель, тем скорее он преодолевает личные особенности. На щекотку люди реагируют по-разному, на каленое железо – однородно. Как паровой молот одинаково превращает и шар и куб в пластинку, так под гнетом слишком больших и неотвратимых событий сплющиваются сопротивляющиеся, утрачивая грани своей «индивидуальности».

Людовик и Николай были последышами бурно жившей династии. Известная уравновешенность того и другого, спокойствие и «веселость» в трудные минуты являлись благовоспитанным выражением скудости внутренних сил, слабости нервных разрядов, нищеты духовных ресурсов. Моральные кастраты, оба были абсолютно лишены воображения и творчества, имели ровно настолько ума, чтобы чувствовать свою тривиальность, и питали завистливую враждебность ко всему даровитому и значительному. Обоим выпало править страну в условиях глубоких внутренних кризисов и революционного пробуждения народа. Оба отбивались от вторжения новых идей и прибоя враждебных сил. Нерешительность, лицемерие и лживость были у обоих выражением не столько личной слабости, сколько полной невозможности удержаться на унаследованных позициях.

А как обстояло дело относительно жен? Александра в еще большей степени, чем Антуанетта, была вознесена на самую вершину мечтаний принцессы, да еще столь захолустной, как гессенская, своим браком с неограниченным повелителем могущественной страны. Обе они преисполнялись до краев сознания своей высокой миссии: Антуанетта – более фризовольно, Александра – в духе протестантского ханжества, переведенного на церковнославянский язык. Неудачи царствования и растущее недовольство народа безжалостно нарушали тот фантастический мир, который построили для себя эти завзятые, но в конце концов куриные головы. Отсюда растущее ожесточение, гложущая враждебность к чужому народу, не склонившемуся перед ними; ненависть к министрам, которые хоть сколько-нибудь считаются с враждебным миром, т. е. со страной; отчуждение даже от собственного двора и постоянная обида на мужа, не оправдавшего ожиданий, возбужденных им в качестве жениха.

Историки и биографы психологического уклона нередко ищут и находят чисто личное и случайное там, где через личность преломляются большие исторические силы. Это та же ошибка зрения, что и у придворных, которые считали последнего русского царя прирожденным «неудачником». Он и сам верил, что родился под несчастной звездой. На самом деле его неудачи вытекали из противоречия между теми старыми целями, которые ему завещали предки, и новыми историческими условиями, в какие он был поставлен. Когда древние говорили, что Юпитер отнимает разум у того, кого хочет погубить, то они в суеверной форме выражали итог глубоких исторических наблюдений. В словах Гете о разуме, который становится бессмыслицей, – «Vernunft wird Unsinn» – заключается та же мысль о безличном Юпитере исторической диалектики, который отнимает разум у переживших себя исторических учреждений и обрекает на неудачи их защитников. Тексты ролей Романова и Капета были предписаны развитием исторической драмы. На долю актеров приходились разве лишь оттенки интерпретации. Неудачливость Николая, как и Людовика, коренилась не в их личном гороскопе, а в историческом гороскопе сословно бюрократической монархии. Они оба были прежде всего последышами абсолютизма. Их нравственное ничтожество, вытекающая из их династического эпигонства, придавало последнему особенно зловещий характер.

Можно возразить: если бы Александр III меньше пил, он мог бы прожить значительно дольше, революция столкнулась бы с царем совершенно другого склада и никакой симметрии с Людовиком XVI не получилось бы. Такое возражение, однако, нисколько не задевает сказанного выше. Мы совсем не собираемся отрицать значение личного в механике исторического процесса, ни значения случайного в личном. Нужно только, чтобы историческая личность, со всеми своими особенностями, бралась не как голый перечень психологических черт, а как живая реальность, выросшая из определенных общественных условий и на них реагирующая. Как роза не перестанет пахнуть потому только, что естествовед укажет, какими ингредиентами почвы и атмосферы она питается, так и вскрытие общественных корней личности не отнимает у нее ни ее аромата, ни ее зловония.

Выдвинутое выше соображение насчет возможного долголетия Александра III способно как раз осветить ту же проблему с другой стороны. Можно допустить, что Алек-

сандр III не ввязался бы в 1904 году в войну с Японией. Этим самым была бы отодвинута первая революция. До каких пор? Возможно, что «революция 1905 года», т. е. первая проба сил, первая брешь в системе абсолютизма, составила бы простое вступление ко второй, республиканской, и третьей, пролетарской. На этот счет возможны лишь более или менее интересные догадки. Но неоспоримо во всяком случае, что революция вытекала не из характера Николая II и что не Александр III разрешил бы ее задачи. Достаточно напомнить, что нигде и никогда переход от феодального строя к буржуазному не совершался без насильственных потрясений. Только вчера мы это видали в Китае, сегодня снова наблюдаем в Индии. Самое большее, что можно сказать, – это что та или другая политика монархии, та или другая личность монарха могли приблизить или отдалить революцию и наложить известную печать на ее внешний ход.

С каким злобным и бессильным упорством царизм пытался отстоять себя уже в самые последние месяцы, недели и дни, когда его партия была безнадежно проиграна. Если самому Николаю не хватало воли, недостаток ее восполняла царица. Распутин являлся орудием воздействия клики, которая остервенело боролась за самосохранение. Даже в этом узком масштабе личность царя поглощается группой, представляющей сгусток прошлого и его последнюю конвульсию. «Политика» царскосельской верхушки лицом к лицу с революцией состояла из рефлексов затравленного и ослабевшего хищника. Если в степи преследовать волка на быстроходном автомобиле, зверь в конце концов выдохнется и ляжет в бессилии. Но попробуйте надеть на него ошейник, он попытается растерзать или, по крайней мере, поранить вас. Да и остается ли ему в этих условиях что-нибудь другое?

Либералы полагали, что остается. Вместо того чтобы пойти своевременно на соглашение с цензовой буржуазией и тем предотвратить революцию – таков обвинительный акт либерализма против последнего царя, – Николай упрямо отбивался от уступок и даже в самые последние дни, уже под ножом рока, когда каждая минута была на счету, все еще медлил, торговался с судьбой и упускал последние возможности. Все это звучит убедительно. Но как жаль, что либерализм, знавший столь безошибочные средства спасения для монархии, не нашел этих средств для себя! Нелепо было бы утверждать, будто царизм никогда и ни при каких условиях не шел на уступки. Он шел на них, поскольку они вызывались для него необходимостью самосохранения. После крымского разгрома Александр II провел полуосвобождение крестьян и ряд либеральных реформ в области земства, суда, печати, учебных заведений и пр. Царь сам выразил тогда руководящую мысль своих преобразований: освободить крестьян *сверху*, дабы не освободились *снизу*. Под натиском первой революции Николай II дал полуконституцию. Столыпин пустил на слом крестьянскую общину, чтобы расширить арену капиталистических сил. Все эти реформы имели, однако, для царизма смысл лишь постольку, поскольку уступки в частном сохраняли целое, т. е. основы сословного общества и самой монархии. Когда последствия реформ начинали перехлестывать за эти пределы, монархия неизбежно шла на попятный. Александр II во второй половине царствования обворовывал реформы первой половины. Александр III пошел по пути контрреформ еще дальше. Николай II отступил в октябре 1905 года перед революцией, затем распустил им же созданные думы и, как только революция ослабела, совершил государственный переворот. На протяжении трех четвертей столетия – если начать счет с реформ Александра II – разворачивается то подземная, то открытая борьба исторических сил, далеко возвышающаяся над личными качествами отдельных царей и завершающаяся низвержением монархии. Только в исторических рамках этого процесса можно найти место для отдельных царей, их характеров, их «биографий».

Даже самодержавнейший из деспотов мало похож на «свободную» индивидуальность, по произволу налагающую печать на события. Он всегда является коронованным агентом привилегированных классов, формирующих общество по образу своему. Когда эти классы

еще не исчерпали миссии, тогда и монархия крепка и уверена в себе. Тогда у нее в руках надежный аппарат власти и неограниченный выбор исполнителей, ибо наиболее даровитые люди еще не перешли во враждебный лагерь. Тогда монарх, лично или через посредство временщика, может стать носителем большой и прогрессивной исторической задачи. Другое дело, когда солнце старого общества окончательно склоняется к закату: привилегированные классы из организаторов национальной жизни превращаются в паразитарный нарост; утратив свои руководящие функции, они теряют сознание своей миссии и уверенность в своих силах; недовольство собою они превращают в недовольство монархией; династия изолируется; круг преданных ей до конца людей сокращается; уровень их снижается; опасности между тем растут; новые силы напирают; монархия теряет способность к какой бы то ни было творческой инициативе; она обороняется, отбивается, отступает, — ее действия приобретают автоматизм простейших рефлексов. От этой судьбы не ушла и полуазиатская деспотия Романовых.

Если взять агонизирующий царизм, так сказать, в вертикальном разрезе, то Николай — стержень клики, уходящей корнями в безнадежно осужденное прошлое. В горизонтальном разрезе исторической монархии Николай — последнее звено династической цепи. Его ближайшие предки, тоже входившие в свое время в семейно-сословно-бюрократические коллективы, только более обширные, испробовали разные меры и приемы управления, чтобы оградить старый социальный режим от надвигавшейся на него судьбы, и тем не менее завещали Николаю хаотическую империю, уже донашивавшую революцию в своем чреве. Если ему и оставался выбор, то только между разными путями гибели.

Либерализм мечтал о монархии британского образца. Но разве парламентаризм сложился на Темзе мирным эволюционным путем или явился плодом «свободной» предусмотрительности отдельного монарха? Нет, он отложился как итог борьбы, которая длилась века и в которой один из королей оставил на перекрестке свою голову.

Намеченное выше историко-психологическое сопоставление Романовых с Капетами можно, кстати, с полным успехом распространить на британскую королевскую чету эпохи первой революции. Карл I обнаруживал то же, в основном, сочетание черт, которыми мемуаристы и историки с большим или меньшим основанием наделяют Людовика XVI и Николая II. «Карл оставался пассивным, — пишет Монтегю, — уступал там, где не в состоянии был оказать сопротивление, хотя с неохотой, но прибегал к обману, и не приобрел ни популярности, ни доверия». «Он не был тупым человеком, — говорит другой историк о Карле Стюарте, — но у него не хватало твердости характера... Роль злого рока сыграла для него его жена, Генриетта Французская, сестра Людовика XIII, пропитанная идеями абсолютизма еще больше, чем Карл». Не будем детализировать характеристику этой третьей — в хронологическом порядке первой — королевской четы, раздавленной национальной революцией. Отметим лишь, что и в Англии ненависть сосредоточивалась прежде всего на королеве, как француженке и папистке, которой вменяли в вину шашни с Римом, тайные связи с мятежными ирландцами и происки при французском дворе.

Но Англия имела по крайней мере века в своем распоряжении. Она была пионером буржуазной цивилизации. Она не стояла под гнетом других наций, наоборот, все больше держала их под своим гнетом. Она эксплуатировала весь мир. Это смягчало внутренние противоречия, накапливало консерватизм, содействовало обилию и устойчивости жировых отложений в виде паразитарного слоя лендлордов, монархии, палаты лордов и государственной церкви. Благодаря исключительной исторической привилегированности развития буржуазной Англии, консерватизм в сочетании с эластичностью из учреждений перешел в нравы. Этим не перестали и сегодня еще восторгаться различные континентальные филистеры вроде русского профессора Милюкова или австро-марксиста Отто Бауэра. Но как раз теперь, когда Англия, теснимая во всем мире, проматывает последние ресурсы своей былой

привилегированности, ее консерватизм теряет свою эластичность и, даже в лице лейбористов, превращается в оголтелую реакцию. Пред лицом индийской революции «социалист» Макдональд не находит иных методов, кроме тех, какие Николай II противопоставлял русской революции. Только слепец может не видеть, что Британия идет навстречу гигантским революционным потрясениям, в которых бесследно погибнут обломки ее консерватизма, ее мирового господства и ее нынешней государственной машины. Макдональд готовится эти потрясения ничуть не хуже, чем это делал в свое время Николай II, и никак не с меньшей слепотой. Тоже, как видим, недурная иллюстрация к вопросу о роли «свободной» личности в истории!

Но где же было России, с ее запоздалым развитием, в хвосте всех европейских наций, со скудным экономическим фундаментом под ногами, вырабатывать «эластический консерватизм» общественных форм, – очевидно специально для потребностей профессорского либерализма и его левой тени, реформистского социализма? Россия слишком долго отставала, – и когда мировой империализм взял ее в тиски, она оказалась вынуждена проходить свою политическую историю по очень сокращенному курсу. Если бы Николай пошел навстречу либерализму и сменил Штюмера Милюковым, развитие событий отличалось бы несколько по форме, но не по существу. Ведь именно таким путем пошел на втором этапе революции Людовик, призвав к власти Жиронду: это не избавило от гильотины ни самого Людовика, ни, затем, Жиронду. Накопившиеся социальные противоречия должны были прорваться наружу и, прорвавшись, довести свою очистительную работу до конца. Перед напором народных масс, вынесших, наконец, на открытую арену свои невзгоды, бедствия, обиды, страсти, надежды, иллюзии и цели, верхушечные комбинации монархии с либерализмом имели эпизодическое значение и могли оказать влияние разве на порядок явлений, может быть, на число действий, но никак не на общее развитие драмы и еще менее на ее грозную развязку.

Пять дней

23–27 февраля 1917

23 февраля было международным женским днем. Его предполагалось в социал-демократических кругах отметить в общем порядке: собраниями, речами, листовками. Накануне никому в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Ни одна из организаций не призывала в этот день к стачкам. Более того, даже большевистская организация, притом наиболее боевая: комитет Выборгского района, сплошь рабочего, удерживала от стачек. Настроение масс, как свидетельствует Каюров, один из рабочих вожakov района, было очень напряженным, каждая стачка грозила превратиться в открытое столкновение. А так как комитет считал, что для боевых действий время не пришло: и партия недостаточно окрепла, и у рабочих мало связей с солдатами, то постановил не звать на забастовки, а готовиться к революционным выступлениям в неопределенном будущем. Такую линию проводил комитет накануне 23 февраля, и, казалось, все ее принимали. Но на другое утро, вопреки всяким директивам, забастовали текстильщицы нескольких фабрик и выслали к металлистам делегатов с призывом о поддержке стачки. «Скрепя сердце», пишет Каюров, пошли на это большевики, за которыми потянулись рабочие – меньшевики и эсеры. Но раз массовая стачка, то надо звать на улицу всех и самим стать во главе: такое решение провел Каюров, и Выборгскому комитету пришлось одобрить. «Мысль о выступлении давно уже зрела между рабочими, только в тот момент никто не предполагал, во что он выльется». Запомним это показание участника, очень важное для понимания механики событий.

Считалось заранее несомненным, что, в случае демонстрации, солдаты будут выведены из казарм на улицы, против рабочих. К чему это приведет? Время военное, власти шутить не склонны. Но, с другой стороны, «запасной» солдат военного времени – это не старый солдат кадровой армии. Так ли уж он грозен? На эту тему в революционных кругах рассуждали хоть и много, но скорее отвлеченно, ибо никто, решительно никто – это можно на основании всех материалов утверждать категорически – не думал еще в то время, что день 23 февраля станет началом решительного наступления на абсолютизм. Речь шла о демонстрации с неопределенными, но во всяком случае ограниченными перспективами.

Факт, следовательно, таков, что Февральскую революцию начали снизу, преодолевая противодействие собственных революционных организаций, причем инициативу самовольно взяла на себя наиболее угнетенная и придавленная часть пролетариата – работницы-текстильщицы, среди них, надо думать, немало солдатских жен. Последним толчком послужили возросшие хлебные хвосты. Бастовало в этот день около 90 тысяч работниц и рабочих. Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и схватки с полицией. Движение развернулось в Выборгском районе, с его крупными предприятиями, оттуда перекинулось на Петербургскую сторону. В остальных частях города, по свидетельству охраны, забастовок и демонстраций не было. В этот день на помощь полиции вызывались уже и воинские наряды, по-видимому, немногочисленные, но столкновений с ними не происходило. Масса женщин, притом не только работниц, направилась к городской думе с требованием хлеба. Это было то же, что от козла требовать молока. Появились в разных частях города красные знамена, и надписи на них свидетельствовали, что трудящиеся хотят хлеба, но не хотят ни самодержавия, ни войны. Женский день прошел успешно, с подъемом и без жертв. Но что он таил в себе, об этом и к вечеру не догадывался еще никто.

На другой день движение не только не падает, но вырастает вдвое: около половины промышленных рабочих Петрограда бастует 24 февраля. Рабочие являются с утра на заводы, не приступая к работе, открывают митинги, затем начинаются шествия к центру. В движе-

ние втягиваются новые районы и новые группы населения. Лозунг: «Хлеба» оттеснен или перекрыт лозунгами: «Долой самодержавие» и «Долой войну». Непрерывные демонстрации на Невском проспекте: сперва компактными массами рабочие, с пением революционных песен, позднее пестрая городская толпа, и в ней синие фуражки студентов. «Гуляющая публика относилась к нам сочувственно, а из некоторых лазаретов солдаты приветствовали нас маханием, кто чем мог». Многие ли отдавали себе отчет в том, что несет с собой это сочувственное махание больных солдат по адресу демонстрирующих? Но казаки беспрерывно, хоть и без ожесточения, атаковывали толпу, лошади их были в мыле; демонстранты раздавались по сторонам и снова смыкались. Страх в толпе не было. «Казаки обещают не стрелять», – передавалось из уст в уста. Очевидно, у рабочих были с отдельными казаками беседы. Позже, однако, с руганью появились полупьяные драгуны, врзались в толпу, стали бить пиками по головам. Демонстранты из всех сил крепились, не разбегаясь. «Стрелять не будут». Действительно, не стреляли.

Либеральный сенатор наблюдал на улицах мертвые трамваи, – или это было на следующий день, и память ему изменила? – иные с разбитыми стеклами, а иные боком на земле около рельсов, и вспоминал июльские дни 1914 года, накануне войны: «Казалось, что возобновляется старая попытка». Глаз сенатора не обманул его – преемственность была очевидна: история подхватывала концы разорванной войною революционной нити и связывала их узлом.

В течение всего дня толпы народа переливались из одной части города в другую, усиленно разгонялись полицией, задерживались и оттеснялись кавалерийскими и отчасти пехотными частями. Наряду с криком «долой полицию!» раздавалось все чаще «ура!» по адресу казаков. Это было знаменательно. К полиции толпа проявляла свирепую ненависть. Конных городских гнали свистом, камнями, осколками льда. Совсем по-иному подходили рабочие к солдатам. Вокруг казарм, около часовых, патрулей и цепей стояли кучки рабочих и работниц и дружески перекидывались с ними словами. Это был новый этап, который возник из роста стачки и из очной ставки рабочих с армией. Такой этап неизбежен в каждой революции. Но он всегда кажется новым и действительно ставится каждый раз по-новому: люди, которые читали и писали о нем, не узнают его в лицо.

В Государственной думе в этот день рассказывалось, что громадная масса народа сплошь залила всю Знаменскую площадь, весь Невский проспект и все прилегающие улицы и что наблюдалось совершенно небывалое явление: казаков и полки с музыкой толпа, революционная, а не патриотическая, провожала кличем «ура». На вопрос, что все это значит, первый встречный ответил депутату: «Полицейский ударил женщину нагайкой, казаки вступились и прогнали полицию». Так ли произошло это действительно или иначе, этого никто не проверит. Но толпа верила, что это так, что это возможно. Вера эта не с неба свалилась, она возникла из предшествующего опыта и потому должна была стать залогом победы.

Рабочие Эриксона, одного из передовых заводов Выборгского района, после утреннего собрания всей массой в 2500 человек вышли на Сампсониевский проспект и в узком месте наткнулись на казаков. Грудью коней пробивая дорогу, первыми врзались в толпу офицеры. За ними во всю ширину проспекта скачут казаки. Решительный момент! Но всадники осторожно, длинной лентой проехали через только что проложенный офицерами коридор. «Некоторые из них улыбались, – вспоминает Каюров, – а один хорошо подмигнул рабочим». Неспроста подмигнул казак. Рабочие осмелели дружественной, а не враждебной к казакам смелостью и слегка заразили ею этих последних. Подмигнувший нашел подражателей. Несмотря на новые попытки офицеров, казаки, не нарушая открыто дисциплины, не разгоняли, однако, напористо толпу, а протекали через нее. Так повторилось три-четыре раза, и это еще более сблизило обе стороны. Казаки стали поодиночке отвечать рабочим на вопросы и даже вступать в мимолетные беседы. От дисциплины осталась самая тоненькая и прозрач-

ная оболочка, которая грозила вот-вот прорваться. Офицеры поспешили оторвать разъезд от толпы и, отказавшись от мысли разогнать рабочих, поставили казаков поперек улицы заставой, чтобы не пропускать демонстрантов к центру. И это не помогло: стоя на месте честь честью, казаки не препятствовали, однако, «нырянию» рабочих под лошадей. Революция не выбирает по произволу своих путей: на первых шагах она продвигалась к победе под брюхом казачьей лошади. Замечательный эпизод! И замечателен глаз рассказчика, который запечатлел все изгибы процесса. Немудрено, рассказчик был руководителем, за ним было свыше двух тысяч человек: глаз командира, который опасается вражеских нагаек или пуль, смотрит зорко.

Перелом в армии наметился как будто прежде всего на казаках, исконных усмирителях и карателях. Это не значит, однако, что казаки были революционнее других. Наоборот, эти крепкие собственники, на своих лошадях, дорожившие своими казацкими особенностями, пренебрежительные к простым крестьянам, недоверчивые к рабочим, заключали в себе много элементов консерватизма. Но именно поэтому перемены, вызванные войною, ярче были заметны на них. А кроме того, ведь именно их дергали во все стороны, их посылали, их сталкивали лицом к лицу с народом, их нервировали и первыми подвергли испытанию. Им все это осточертело, они хотели домой и подмигивали: делайте, мол, если умеете, мы мешать не будем. Однако все это были лишь многозначительные симптомы. Армия еще армия, она связана дисциплиной, и основные нити в руках монархии. Рабочие массы безоружны. Руководители и не помышляют еще о решающей развязке.

В этот день на заседании Совета министров стоял в числе других вопросов вопрос о беспорядках в столице. Стачка? Демонстрации? Не в первый раз. Все предусмотрено, распоряжения отданы. Простой переход к очередным делам.

Каковы же распоряжения? Несмотря на то что в течение 23-го и 24-го избито 28 полицейских, – подкупающая точность подсчета! – начальник войск округа генерал Хабалов, почти диктатор, еще не прибегал к стрельбе. Не от добродушия: все было предусмотрено и размечено заранее, и для стрельбы было свое время.

Революция застигла врасплох только в смысле момента. Но, вообще говоря, оба полюса, – революционный и правительственный, тщательно готовились к ней, готовились много лет, готовились всегда. Что касается большевиков, то вся их деятельность после 1905 года была не чем иным, как подготовкой ко второй революции. Но и деятельность правительства в огромной своей доле являлась подготовкой к подавлению новой революции. Эта область правительственной работы приняла осенью 1916 года особенно планомерный характер. Комиссия под председательством Хабалова закончила к середине января 1917 года очень тщательную разработку плана разгрома нового восстания. Город был разбит на шесть полицмейстерств, которые делились на районы. Во главе всех вооруженных сил ставился командир гвардейских запасных частей генерал Чебыкин. Полки были расписаны по районам. В каждом из шести полицмейстерств полиция, жандармерия и войска объединялись под командой особых штаб-офицеров. Казачья конница оставалась в распоряжении самого Чебыкина для операций более крупного масштаба. Порядок расправы был намечен такой: сперва действует одна лишь полиция, затем выступают на сцену казаки с нагайками и, лишь в случае действительной необходимости, пускаются в дело войска с ружьями и пулеметами. Именно этот план, представлявший развитие опыта 1905 года, применялся в февральские дни на деле. Беда была не в отсутствии предусмотрительности и не в пороках самого плана, а в человеческом материале. Здесь грозила большая осечка.

Формально план опирался на весь гарнизон, насчитывавший полтора ста тысяч солдат; но в действительности в расчет вводилось всего каких-нибудь тысяч десять: помимо городских, которых было 3 1/2 тысячи, твердая надежда была еще на учебные команды. Это объясняется характером тогдашнего петроградского гарнизона, состоявшего почти исклю-

чительно из частей запаса, прежде всего из 14 запасных батальонов при гвардейских полках, находившихся на фронте. Кроме того, в гарнизон входили: один запасный пехотный полк, запасный самокатный батальон, запасный броневой дивизион, небольшие саперные и артиллерийские части и два донских казачьих полка. Это было очень много, слишком много. Разбухшие запасные части состояли из человеческой массы, либо почти не подвергшейся обработке, либо успевшей освободиться от нее. Да ведь такой была, в сущности, и вся армия.

Хабалов тщательно придерживался им же выработанного плана. В первый день, 23-го, подвизалась исключительно полиция, 24-го была выведена на улицы преимущественно кавалерия, но лишь для действия нагайкой и пикой. Использование пехоты и применение огня ставилось в зависимость от дальнейшего развития событий. Но события не заставили себя ждать.

25-го стачка развернулась еще шире. По правительственным данным, в ней участвовало в этот день 240 тысяч рабочих. Более отсталые слои подтягиваются по авангарду, бастует уже значительное число мелких предприятий, останавливается трамвай, не работают торговые заведения. В продолжение дня к стачке примкнули и учащиеся высших учебных заведений. Десятки тысяч народу стекаются к полудню к Казанскому собору и примыкающим к нему улицам. Делаются попытки устраивать уличные митинги, происходит ряд вооруженных столкновений с полицией. У памятника Александру III выступают ораторы. Конная полиция открывает стрельбу. Один оратор падает раненый. Выстрелами из толпы убит пристав, ранен полицмейстер и еще несколько полицейских. В жандармов бросают бутылки, петарды и ручные гранаты. Война научила этому искусству. Солдаты проявляют пассивность, а иногда и враждебность к полиции. В толпе возбужденно передают, что, когда полицейские начали стрельбу по толпе возле памятника Александру III, казаки дали залп по конным фараонам (такова кличка городских), и те принуждены были ускакать. Это, видимо, не легенда, пущенная в оборот для поднятия собственного духа, так как эпизод, хоть и по-разному, подтверждается с разных сторон.

Рабочий-большевик Каюров, один из подлинных вождей в эти дни, рассказывает, как демонстранты разбежались в одном месте под нагайками конной полиции, на виду у казачьего разъезда, и как он, Каюров, и с ним еще несколько рабочих не последовали за убегавшими, а, сняв шапки, подошли к казакам со словами: «Братья-казаки, помогите рабочим в борьбе за их мирные требования, вы видите, как разделяются фараоны с нами, голодными рабочими. Помогите!» Этот сознательно приниженный тон, эти шапки в руках – какой меткий психологический расчет, неподражаемый жест! Вся история уличных боев и революционных побед кишит такими импровизациями. Но они тонут бесследно в пучине больших событий – историкам остается шелуха общих мест. «Казаки как-то особенно переглянулись, – продолжает Каюров, – и не успели мы отойти, как бросились в происходящую свалку». А через несколько минут у вокзальных ворот толпа качает на руках казака, который на ее глазах зарубил шашкой полицейского пристава.

Полиция скоро совсем исчезла, т. е. стала действовать исподтишка. Зато появились с ружьями наперевес солдаты. Рабочие бросают им тревожно: «Неужели, товарищи, вы пришли помогать полиции?» В ответ грубое «проходи». Новая попытка заговорить кончается тем же. Солдаты угрюмы, их гложет червь, и им невтерпех, когда вопрос попадает в самый центр их тревоги.

Разоружение фараонов становится тем временем общим лозунгом. Полиция – лютый, непримиримый, ненавидимый и ненавидящий враг. О завоевании ее на свою сторону не может быть и речи. Полицейских избивают или убивают. Совсем иное войска: толпа из всех сил избегает враждебных столкновений с ними, наоборот, ищет путей расположить их к себе, убедить, привлечь, породнить, слить с собою. Несмотря на благоприятные слухи о поведении казаков, может быть, слегка и преувеличенные, толпа к коннице относится

все же с опаской. Кавалерист воздымается высоко над толпой, и его душа отделена от души демонстранта четырьмя ногами лошади. Фигура, на которую приходится глядеть снизу вверх, кажется всегда значительнее и грознее. Пехота – тут же, рядом, на мостовой, ближе и доступнее. К ней масса старается подойти вплотную, заглянуть ей в глаза, обдать ее своим горячим дыханием. Большую роль во взаимоотношениях рабочих и солдат играют женщины-работницы. Они смелее мужчин наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, умоляют, почти приказывают: «Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам». Солдаты волнуются, стыдятся, они тревожно переглядываются, колеблются, кто-нибудь первым решается, и – штыки виновато поднимаются над плечами наступающих, застава разомкнулась, радостное и благодарное «ура» потрясает воздух, солдаты окружены, везде споры, укоры, призывы – революция делает еще шаг вперед.

Николай прислал из Ставки телеграфное повеление Хабалову «завтра же» прекратить беспорядки. Воля царя совпадала с дальнейшим звеном хабаловского «плана», так что телеграмма послужила лишь дополнительным толчком. Завтра должны будут заговорить войска. Не поздно ли? Пока еще сказать нельзя. Вопрос поставлен, но далеко еще не решен. Потачки со стороны казаков, колебания отдельных пехотных застав – лишь многообещающие эпизоды, повторенные тысячекратным эхом чуткой улицы. Этого достаточно, чтобы воодушевить революционную толпу, но слишком мало для победы. Тем более что есть эпизоды и противоположного характера. Во второй половине дня взвод драгун, будто бы в ответ на револьверные выстрелы из толпы, впервые открыл огонь по демонстрантам у Гостиного Двора: по донесению Хабалова в Ставку, убитых трое и десять ранено. Серьезное предупреждение! Одновременно Хабалов пригрозил, что все рабочие, состоящие на учете как призывные, будут отправлены на фронт, если до 28-го не приступят к работам. Генерал предъявил трехдневный ультиматум, т. е. дал революции больший срок, чем ей понадобится, чтобы свалить Хабалова и монархию в придачу. Но это известно станет только после победы. А вечером 25-го никто еще не знал, что несет в своем чреве завтрашний день.

Постараемся яснее представить себе внутреннюю логику движения. Под флагом «женского дня» 23 февраля началось долго зревшее и долго сдерживавшееся восстание петроградских рабочих масс. Первой ступенью восстания была стачка. В течение трех дней она ширилась и стала практически всеобщей. Это одно придавало массе уверенность и несло ее вперед. Стачка, принимая все более наступательный характер, сочеталась с демонстрациями, которые сталкивали революционную массу с войсками. Это поднимало задачу в целом в более высокую плоскость, где вопрос разрешается вооруженной силой. Первые дни принесли ряд частных успехов, но более симптоматического, чем материального, характера. Революционное восстание, затянувшееся на несколько дней, может развиваться победоносно только в том случае, если оно повышается со ступени на ступень и отмечает новые и новые удачи. Остановка в развитии успехов опасна, длительное топтание на месте губительно. Но даже и самих по себе успехов мало, надо, чтобы масса своевременно узнавала о них и успевала их оценить. Можно упустить победу и в такой момент, когда достаточно протянуть руку, чтобы взять ее. Это бывало в истории.

Три первых дня были днями непрерывного повышения и обострения борьбы. Но именно по этой причине движение достигло того уровня, когда симптоматические удачи становились уже недостаточными. Вся активная масса вышла на улицы. С полицией она справлялась успешно и без труда. Войска в последние два дня уже были втянуты в события: на второй день – только кавалерия, на третий – также и пехота. Они отесняли и преграждали, иногда попустительствовали, но к огнестрельному оружию почти не прибегали. Сверху не торопились нарушать план, отчасти недооценивая то, что происходит, – ошибка зрения реакции симметрично дополняла ошибку руководителей революции, – отчасти не будучи уверены в войсках. Но как раз третий день, силою развития борьбы, как и силою цар-

ского приказа, сделал неизбежным для правительства пустить в ход войска уже по-настоящему. Рабочие поняли это, особенно передовой слой, тем более что накануне драгуны уже стреляли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.